

Торчинская Эльга Григорьевна  
Корреспондент – Флиге Ирина Анатольевна  
08.04.2004  
Кассета №1, сторона А

- Расскажите про всю вашу семью, начиная...

- Ну, я не знаю... Я до бабушек и дедушек, а дальше я не знаю, потому что, ну... в общем, мы все из Житомира, вот, по отцовской линии там, значит, все – дедушка, его брат, все они, все были адвокаты. Адвокатом был дедушка, в Ленинграде он умер, в Ленинграде, здесь в блокаду умер. Вот здесь у Пяти углов была когда-то адвокатская контора, она называлась «Коллегия защитников» или просто «Защитник» и вот дедушка там был до самой... он еще в блокаду ходил, туда. Вот, юрист. Он вообще такой был... они очень были настроены так, как бы сказать – демократически, к нему... у него старший его брат был очень известный в Житомире, вот они ... Дедушка, он с таким, демократическим уклоном там, вообще, так сказать, они были... приветствовали революцию, естественно, потому что так были настроены. Вот, и бабушка моя была, она, собственно говоря, у их семь человек детей, так что она занималась, по-моему, в основном только детьми. Вот так со стороны отца. А со стороны мамы...

- Нет, подождите, а как вот звали деда со стороны отца?

- Его по-еврейски звали Мойша, а уже по паспорту имя адаптированное – Михаил Захарович.

- А как он учился, как он получил образование?

- Я этого не знаю, но вообще там, вот, мой дед, второй дед, он был очень... у него булочная, и образование по-моему, у него было, весьма коротким. И у него было десять человек детей и он всех обязательно их всех устраивал гимназии и это там было все доступно. Они все учились в гимназиях, они все учились – старшие, младшим уже не довелось, уже они попали в советский этот период, а мама закончила гимназию, и старшая сестра закончила гимназию. Они имели деньги, они получали образование, они ездили за границу, так что... То есть это все было доступно там, так что...

- Ну вот дед, Торчинский, он где учился?

- Я даже не знаю.

- То есть он куда-то из Житомира ездил...

- И там учился, да.

- И это была большая семья? Сколько у него было братьев, сестер?

- Сколько... Вот я знаю только, что старший у него был брат, Соломон, вот, а больше я не знаю ничего, я не спрашивала ничего... Вот, а бабушкин - Абрамович. Ну вот... так что она очень красивая была такая, и очень... ну, она была... посвятила себя детям, семь человек – четыре сына и три дочери, и она посвятила себя воспитанию детей.

- А она из какой семьи была?

- Ну я не знаю.

- А образование?

- Образование – я думаю, что гимназия.

- И что она окончила гимназию?

- Да.

- в семье бабушки и дедушки Торчинских сохранилось какая-то традиция еврейская – праздники они отмечали, говорили они на идише, на иврите?

- Этого я не слышала ни разу. Дедушка иногда, когда они не хотели, чтобы я что-то понимала, тогда они начинали говорить. Но вообще практически они не говорили, я не знаю...

- Ну а какая-нибудь традиция сохранилась?

- Я не... с этой стороны нет. Вот со стороны мамы, там вот это... и дедушка тот – тот молился, я знаю, и там вот все праздники... Его сестра, она жила потом в Ленинграде,

она устраивала всегда здесь все [еврейские] праздники, и мы ходили к ней, и на Песах мы ходили... Они соблюдали все праздники...

- И субботы соблюдали?

- И... ну нет, я думаю, что нет. Но хоронили, так сказать по обычаю так... Это со стороны вот мамы.

- И в Житомире вот... папа был каким ребенком?

- Сейчас скажу... Там, значит, старший был дядя Миша, потом тетя...

- А он сразу был Миша или он сперва был Мойша?

- Миша, а я не знаю как раньше, я его знаю как Миша. Потом, значит, тетя Бетти, как мы ее называли, Бетти ее называли. Потом была тетя Аня, а потом отец. Потом тетя Оля родилась, да - тетя Оля, потом Александр, который вместе с ним [с отцом] сгинул и Соломон. Соломон и... самая младшая, там очень сложно, потому что они [младшие дети] потом себе убавляли годы, тетки, моя мама говорила, что это все не так [возраст], когда они говорили, что тетя Эсфирь - самая младшая, мама говорила, что все это не так - но не знаю как там было раньше - кто там был младше. Вот так что вот...

- И они жили в Житомире?

- А Житомире.

- И они все учились в школе?

- И они все учились, все кончали, гимназию все кончали, а тетя Бетти - она кончила... где она училась - я даже не знаю, она юрист, причем юрист очень квалифицированный, она до... она умерла - ей было восемьдесят с чем-то лет, она работала юрисконсульт в консультации. И кроме того, она, когда началась эта самая... ну... реабилитация, она... она вызволила из лагеря, тетя Бетти, она вызволила столько детей.

- А каким образом?

- Она писала, писала, она сразу, когда вот началось, это же - она тут же написала сразу .... к этому приобщиться, она меня...

- Это в каком году было?

- Это 56-й год. Она меня научила... Она вообще держала всю семью - она была уже, когда я работала в Москве. А ее муж был Федоров, Григорий Федорович Федоров, - по-моему, мемориальная доска висит, был партийным, у него даже партбилет номер один по Выборгскому району, но ... Но это был интеллигентный человек. Мы жили вот у них. Так что и тетки мои - все они, так сказать, с детства от деда приобщались к революции. Во всяком случае к таким вот движениям этим они были близки, познакомились

- Это еще в Житомире?

- Да, в Житомире, да. Хотя он, он ездил, а где они [родители] познакомились, я даже не знаю, где они... Во всяком случае жили они в Ленинграде, он работал...

- Кто?

- Тетя Бетти, и уже когда я, мы приехали в Ленинград, они жили в Ленинграде, он был председателем союза металлистов он был, ну и у моей тетки, тети Бетти, сохранились письма Ленина, «дорогой Гриша...». Ну и «дорогой Гриша» тоже [был арестован], вот если возьмем книгу «Нижний Новгород», там он фигурирует в качестве полномочного представителя Владимира Ильича и где, так сказать, ему было предписано расправляться с буржуазией, что это он тоже делал... Вот так что вот так.

- А как его жизнь закончилась?

- в 36-м, нет в 34-м, году его арестовали. Во-первых так, во-первых, он сразу, когда началась сталинская эпопея, он в числе был оппозиции, он... платформа [вероятно троцкист] я знаю, что он бедствовал, его выгоняли из партии, массовые неприятности, его понижали и потом в 34-м году его арестовали, 8 декабря его арестовали. И потом его, значит, отправили его в Челябинск, он получил там... группа, это первый процесс - он получил тогда шесть лет, по-моему, потом в 36-м году его оттуда привезли в Москву и его там в московской тюрьме ... и расстрелян был в 36-м году.

- В 36-м?

- В 36-м. Вот по московскому [троцкистскому] центру. - По московскому центру. Его могила [неразб] будет всегда. Вот, а тетя Бетти, когда только началась перестройка, она достала... Он был членом Апрельского ЦК, Апрельского, и существует такая фотография с этими овалами, и там Григорий Федорович, значит, присутствует. И тетя Бетти устроила у себя в комнате музей, и она, значит, развесила эти вот портреты, характер очень активный, у него... Это у тети Бетти был второй брак. От первого брака у нее были две дочери. Нина и Лида. И вот эту Лиду... они очень дружили, они всегда... у тети Бетти очень там... помогала, ... И когда Григория Федоровича арестовали, значит, решили Лиду послать... как ребенка, ей было пятнадцать лет, кажется, чтобы узнать там, что с ним. Ну и она оттуда уже не вернулась. И она умерла в ссылке, кажется, в семнадцать - восемнадцать лет...

- А где она была в ссылке?

- Я не знаю, это знают мои сестры. Там очень активно занимается... а тетя Бетти была переводчиком. В жизни тоже юрист, она тоже как и... она третье поколение, у нее уже внуки юристы, сыновья доктора наук там и уже многие там пишут диссертации тоже, так что это юридическая линия в нашей семье. И тетя Бетти очень активно, сразу, как началась [реабилитация] При чем, она сразу взялась, у нее масса знакомых. И я однажды у нее была проездом, потому что я проезжая [в этнографические экспедиции] всегда останавливаюсь у нее, и однажды меня познакомили с женой Склярского, секретарь Троцкого. Так что такая вот была... Ну и чудом ей удалось вообще не быть арестованной, потому что она скрывалась и детей... А детей скрывала там няня.

- Почему?

- Потому что они детей хотели забрать в детский дом.

- После ее ареста?

- Ее не успели... Как-то ее не арестовали, но надо сказать, что Григорий Федорович был женолюбом большим, и он оставил семью и у него была там женщина, подруга тети Бетти, с которой он сошелся и ее, кажется... Она была сослана. А тете Бетти как-то удалось... там очень была история странная – я так и не знаю до конца, там хотели сыграть на какой-то милосердие и пытались им давать какие-то... в общем, во-первых, девочек хотели взять в детский дом, и помогали даже, вот, но был период, когда няня их забрала в деревню, потому что грозил им детский дом, а тетя Бетти где-то скрывалась, в общем, я не знаю. Вот как-то это, в общем, я не совсем знаю...

- А эта няня – она всегда была няней?

- Она няней, да, она у них была в Москве, когда они переехали в Москву, она у них появилась как-то, так что, она и, кажется, они ее даже похоронили там. Она там очень любила их, всех. Вот так, так что вот такая вот история, ну а Григорий Федоровича тогда взяли сразу, после того, как он... И, видимо, моего отца, собственно говоря, взяли по этому делу, по делу дяди, наверное. Там ему в основном инкриминировалась связь с московским центром и что он осуществлял связь между, значит, московским Григорий Федоровичем, и Гессеном, который был в Смоленске. В Смоленске – именно Смоленск почему-то там...

- А что, отец общался с ним?

- А этого ничего не было. А в деле Гессена его даже и не фигурировало ничего, так что это все было надумано, (перерыв в записи)

- Так а как родители-то познакомились? И, вы не рассказали про деда и бабушку по маме.

- По маме? Ну, деда я не знала, последний вот раз я была в Житомире, мне было шесть лет тогда. Вот, и дед еще был жив, вот, он... как его? Мойша, Мойша... я даже отчества его не знаю. Айзенберг, Айзенберг - это его фамилия. А Мойша, ну конечно, все это перешло в Михаил, хотя моя старшая тетка – Моисеевна. Она сохранила так у себя в паспорте, остальные все стали, конечно, Михайловны. Он был ..., образование у него

было весьма, так сказать, ну не знаю, четыре класса он имел, или нет, но у него была пекарня. Булочная известная, он был купец, не купец, во всяком случае, он такой человек известный, на Бердичевской, такая улица, вот свой дом был, и пятнадцать человек детей. А бабушка – я ее не видела, потому что она умерла во время погромов, она... у нее желчно-каменная болезнь, и она умерла, кажется, в 18-м году. Она умерла во время погромов. Мама рассказывала... Они были труженниками.

- А как ее звали?

- Бабушку звали Ханна Эльга,

- Ханна?

- Ханна Эльга, Эльга, да.

- Это вас в ее честь называли?

- Ну нет, это получилось так – меня хотели сначала назвать Анной, потом почему-то мама передумала, и она пришла к раввину, и у раввина была книга, Гауфмана есть пьеса, «Элька». И вот он и сказал, что вот назови Элькой. Ну, вот стали вот русифицировать, а поскольку это имя имело какую-то связь с Элькой, то меня назвали Эльгой.

- А мама была каким ребенком?

- Мама была... сейчас скажу. Вообще было пятнадцать человек детей, и пять умерло. Но из живых, значит, мама была первой дочерью

- Старшей?

- Старшим был Симон, которого, значит, в Америку выгнали, потом...

- Как это выгнали?

- Он был первенец, любимец, но дедушка требовал от всех [детей], чтобы они учились. В для будущего. Симон, и он не захотел учиться. Он был... таким, поиграл не то в театре, не то... однажды дедушке донесли, что он выступал в цирке, борцом он там был. Ну и дедушка – а он был очень крутой человек, он его избил, потерпеть этого не мог, короче говоря, он его сплавил в Америку. Он уехал где-то в 5-м или 6-м году в Америку. И он писал до тех пор, пока... он очень любил мать. Пока была жива бабушка, он писал. А потом вообще растворился, и мы не знаем, где и что... Знаем только... фотографии присылал, тоже такой денди... Значит, он где-то в Южной Америке, женился на какой-то фабрикантше, ну и был, в общем, преуспевающим, но когда умерла бабушка, он потерял связь совершенно. Но, а естественно, никто же не признавался, это ко всем нашим «порокам», вот пятый пункт [еврейская национальность], да еще и иметь родственника за границей, это не очень афишировалось всегда. Хотя фотографии его у нас есть. Ну вот, потом, значит, после него был дядя Саша, который жил потом в Ташкенте, вот, потом вот эта... Рахиль, ...тенька мы ее звали, а потом мама...

- А как маму звали?

- Софья Михайловна.

- А остальные?

- А потом уже пошли, значит, там была Евгения, (Женя), Ева... а нет, помню – младше мамы на один год был еще брат, Коля, его... он...

- Как Коля?

- Его называли... Он, конечно, был не Коля, но стал Колей, и еще к тому еще Алексеевич. Ну это было так... Ну, меняли, знаете, там все - паспорта все... дядя Коля – он в Риге жил, в Риге...

- Потом Евгения, Ева...

- Ева и... и потом Фаня, Наташа... она всегда была Шивочка, но из нее сделали Наташу. Вот. И Белла.

- То есть было всего три мальчика?

- Три мальчика и семь девочек.

- А расскажите вот про семью этого деда. Они были религиозными, традиции соблюдали?

- Дедушка да. Дед, причем он, особенно таким был. Бабушка умерла, у него потом было еще два брака, и вот от последнего брака у него был сын. Он погиб на фронте – чудный мальчик был, младше меня, но я его всегда дядей называла. И вот последние годы, там, ну, во-первых, они голод на Украине перенесли, и мы посылки им туда посылали, и он заставлял его учиться...

- А как его звали?

- Его Давид звали, мальчика. Он заставлял его рано вставать, молиться, он особенно к старости, так сказать, стал очень религиозным, а до этого там соблюдались все эти ограничения, там...

- И он так и жил в Житомире?

- Он жил, и там и умер. Сломал ногу, я помню, там он...

- Это в каком году?

- Он умер в году 36-м, 37-м, так, в 36-м, по-моему, даже, раньше. А его жена последняя, у нее была тоже своя дочь, и они погибли – их расстреляли немцы. У нее дочь немножко какая-то ... ну, в общем, ненормальная, эта Катя. И она выбежала навстречу – рассказывали нам, – она выбежала навстречу немцам, и, в общем, ее расстреляли и ее маму расстреляли. Так что к этому времени уже никого не осталось. Все разлетелись. Все были в Москве, в Ленинграде, в Ташкенте. Все разъехались.

- А как вот дед жил после революции?

- У него была пекарня, она сохранялась, пекарня, маленькая, я даже там была, и был там у него, я помню, работник такой, вот.

- И в 20-е годы, и в 30-е?

- Да-да, было, и дом сохранялся. Этот дом такой, я помню, что даже...

- Ничего не отобрали?

- Кое-что там было отобрано, но вообще этот дом был. Я помню, что когда в 29-м году мы там были, там все сохранялось. А пекарня была крошечная в подвале там. Во всяком случае, дедушка был уважаемый человек, я помню, как он, когда я приехала всем показывал меня. Там меня одевали, и я помню, что мы выходили на улицу и он останавливал трамвай, мы садились и ехали. Это я запомнила. Он ужасно... Трамвай останавливался, трамвай и дедушка... его знали, знали там. Но... умер он в нищете. В конце они очень нуждались.

- Так отобрали потом пекарню?

- По всей видимости, да. Я не знаю точно. Потому что потом уже он очень нуждался, потому что я помню, что мы постоянно посылали там чего-то, чтобы они не голодали, ну и был голод на Украине, так что так что, конечно, кончил он жизнь плохо. Ну и во время погромов, конечно – его и забирали, мама рассказывала...

- Как забирали?

- Так там же, там менялись постоянно – там то Деникин, то Махно, то это, то то, и его забирали каждый раз...

- А почему его забирали?

- Ну, как еврея. Ну и потом подозревали, у него действительно какие-то деньги там были, вот, забирали деньги, забирали все...

- То есть его попросту грабили?

- Грабили, грабили. Но вот мама рассказывала – прятались они по чердакам, там, и бабушка умерла. Постоянно это, там постоянно была эта смена...

- Бабушка от чего умерла?

- У нее желчно-каменная была болезнь, она была уже немолодой, ей было сорок с чем-то. Но они были – вот мама рассказывает – что они так работали, потом имели пекарню там, все. Но они работали много – с пяти утра до поздней ночи, все своим горбом.

- А, ну а вот – дети, внуки, всегда приезжали в Житомир – это было по каким-то дням, это была какая-то традиция?

- Нет... Мы летом приезжали. Летом и вот последний раз, тогда я помню приехали все, в 29-м году. Там, в 29-м, и может быть, потом приезжали... и постепенно старшие забирали младших. Младших сестер – вот мы приехали, мы забрали там Фаню, Фаня у нас жила, они не ладили очень с мачехой, им там было плохо, и вот старшие сестры – тетя Женя жила в Москве, она забрала Беллочку к себе. И вот так вот переселялись. Ну у нас вот Наташа тоже жила очень долго. И так они постепенно осели, а дед остался один вот с этим Давидом. Давидом этим и потом этот, после смерти деда, этот Давид переехал в Москву. И мы его звали, чудный мальчик был, жил у старшей тетки моей – Рахиль.

- У Рахиль?

- Он жил, да. И оттуда он ушел в армию и не вернулся, погиб.

- Эльга Григорьевна, а как родители познакомились?

- Я не знаю, в общем, там, наверное, на танцах на каких-то, были же там встречи... отец был в реальном...

- А отец никогда не рассказывал?

- Нет. В реальном училище он учился, ну и там...

- В Житомире?

- В Житомире. Мама в гимназии такой престижной училась, она училась, и, в общем, там они и...

- А там, в Житомире?

- В Житомире.

- А потом они учились где?

- А потом... ну, отец у меня офицер, значит, он, рассказывали тетки мои, как он уезжал, убежал с частями Красной армии, когда наступал Деникин, и он там...

- А папа какого года рождения?

- 98-го. Он родился в 98-м.

- И он убежал...

- С частями Красной армии. вот так он... бежал, бежал, да, и подпрыгивал

- А потом?

- А потом...

- А когда он вступил в партию?

- Я не знаю, честно говоря. Я знаю только то, что когда мы приехали... ну, потом он потом поступил здесь на юридический факультет, он же юрист, он кончал юридический факультет, вот, и... он работал в ЧК.

- Где?

- В Ленинграде. Работал в ЧК. И я помню, очень часто у нас упоминалось имя Озорин

- Он был в Ленинградском ЧК?

- Да-да-да. Вот... (перерыв в записи)

Я знаю только, что мама – рассказ это все со слов мамы, что я помню, что он в ЧК, значит, он, по-моему, сразу тоже примкнул, вообще был, ну и вот он... его многое не устраивало, очень многое, потому что мама рассказывала, что ночью очень он кричал, да, там бывали в общем срывы такие, а потом он однажды... были явки. И он пришел на эту явку, туда и услышал, он зашел в эту квартиру туда, и услышал, как этот человек, к которому он пришел, сказал, что этот жиденок пришел, ну, папа мой этого стерпеть не мог, подошел, и [ударил]. Ну и после этого папе пришлось... собственно говоря, так и судьба сложилась, он в Ленинграде много ... недолго был, пришлось ездить, я знаю, что он долго работал в Петрозаводске, в общем, он был в бегах, если [неразб] Тут он покончил с посредником тоже.

- Это в каком примерно было году?

- Это было, сейчас вам скажу, это был 26-й, 27-й год.

- В 26-м, 27-м году?

- Даже, даже раньше, наверное, потому что да... И тут начались вообще в семье вот такие антисталинские настроения, потому что у нас была семья очень антисталински настроена. Это шло и от Григорий Федоровича, потому что у него были с ним [со Сталиным] очень большие, так сказать, разногласия, и мой отец... а мой отец очень увлекался Бухариным. Очень увлекался Бухариным. Он считал, что... и, так сказать, он позволял себе иметь свою точку зрения. И дед мой... но дед-то он жил в Ленинграде, бабушка в Москве так, только училась, и дед мой, он тоже был очень антисталински... Он приходил к нам и рассказывал, значит, всякие сталинские анекдоты. Дед. Но я была пионерка, я очень возмущалась, и он подавал очень [резко] и вообще мы вспоминаем с сестрой там, часто там у нас... (перерыв в записи) Знаете, у нас ведь как получилось – вообще чудом нас оставили в Ленинграде. Чудом. Маму вызывали...

- Это когда?

- Это уже когда отца арестовали, маму не арестовали. Причем, такие, я помню, что волнения были страшные, мама там [на допросе]... но мама там достойно там держалась. Ну, у отца в то время появилась, значит, вторая семья перед арестом, и ее провоцировали на это, чтобы она, так сказать, что вот он там просто прохлаждается, ну и мама, я помню, что она пришла и рассказывала – что [ответила] – «это мое дело». И мы для них, очевидно, были малоинтересны, я так понимаю. Но если бы они были... ну, пришли к нам, у нас был такой столик кухонный, у нас вообще была бедная обстановка и она была... это мы обнаружили, когда во время блокады стали жечь мебель. Там полочка у нас была, которую мы никогда не разбирали. Там были сложены: Троцкий, Бухарин, Троцкий, Бухарин, все эти книги, все они у нас лежали. Представляете, если бы они нашли? Мы их сожгли во время блокады [когда топили печь книгами].

- А они лежали еще – это еще папа был?

- Это еще да, отцовские. Там еще и юридические всякие книги были, там масса – и Бухарин, и Троцкий, и, в общем, все, так сказать, личности вот эти все, вся литература его интересовала. Он, конечно, он Бухарина очень так... относился с большим уважением так, в такой ситуации, он считал, что... Вот. И, в общем, он тогда, когда вот все это случилось, со всем этим – он ушел, порвал со всем, я не знаю, как ему удалось это все, и с партией порвать, и со всем, так что... он просто нигде не состоял, в каких-то организациях, и я помню, что он очень долго жил в Петрозаводске, и еще в бегах был очень долго.

- А что значит – в бегах?

- А он был ни в Ленинграде, ни в Москве. В Петрозаводске, еще где-то там жил, а потом он вернулся в Москву уже, так сказать, чистым, свободным от партии, от всего и поступил, он работал юрисконсультom в каком-то научно-исследовательском институте. Он часто менял работу. Он вообще, когда вот я читала его дело, там некоторые выражения, которые не довели до сведения, конечно, он был весьма неосмотрительным человеком, потому что он делился своими взглядами иногда с людьми, и там доносы были. Ну и он бросил такую фразу, там [в следственном деле] она фигурирует несколько раз – «Я там сказал младшему брату, Шурик, ты подожди. Мы, говорит, тебя еще... мы еще с этих чекистов сорвем погоны. Сорвем погоны. Будет наше время.» Так что очень активное такое было... ну...

- Эльга Григорьевна, а как он все-таки вышел из партии? Он это сделал публично или...

- Нет, нет, не публично. Я думаю, что он просто свой партбилет [выкинул]

- А когда отец переезжал, из Житомира, мама с папой переехали куда?

- Нет, он здесь приехал [в Ленинград] учиться и он женился

- В каком городе? Когда они вообще поженились?

- Поженились они, значит, я [родилась] в 23-м, поженились они, значит, в 21-м году.

В 21-м году они поженились?

- Да. По-моему, я не уверена, по-моему, да.

- Но поженились еще в Житомире?

- В Житомире, да. А в двадцать... и мама жила уже, она переехала, она жила уже там с дедушкой, очень дружили с дедушкой у нас... вот, и мама, деда и бабушку любила, и очень были хорошие, семья такая была. И... А он уехал вот, он удрал, он уехал тогда в Ленинград, учиться в университете, и жил у тети Бетти. У тети Бетти он жил, а когда мы приехали, мы первое время жили где-то на Чернышевской, я помню.

- А потом мама приехала?

- А потом мы приехали, мы приехали уже в 26-м году.

- А вы родились в Житомире?

- Да, вот 10 месяцев мне было, когда мы приехали и жили у его тети... Сначала мы жили, я помню, на Чернышевской, какую-то комнату там снимали, а потом переехали вот в квартиру Григория Федоровича. Ничего квартирка была, будь здоров.

- расскажите, что это была за квартира, что за люди в этом доме жили, как вы жили?

- Ну это жили там все партработники. Надо сказать, что они неплохо жили, я бы даже сказала с шиком. Потому что у Григория Федоровича была квартирка аж восемь комнат. Причем с такими большими коридорами, ну, Бенуа, этот дом. Роскошные комнаты каждая по тридцать метров там, по двадцать восемь метров. Вот, и... ну, с остатками там всяких украшения, у нас, я помню, ваза такая была красивая, камин... Эту вазу Григорий Федорович как-то на празднике сломал, в подпитии сломал вазу ту. Ну и вот так вот они жили вон там, три уборных, роскошная ванна там со всякими приспособлениями, ну, дом Бенуа, ведь. Ну, конечно, эти, для прислуги отдельные там комнаты – там это было. Так что они, в общем, шикавали..

- домработница была, кто был у них...?

- У них домработница, по-моему, даже две было домработницы, потому что они сразу подряд появились две девицы, вот... (перерыв в записи)

- Нет, это мы подряд просто. Светлана в Москве уже родилась, по-моему. Потом, у нее была какая-то приятельница, и она ее вселила в эту комнату, мы приехали – нам комнату одну дали – восемь комнат .... - делать там нечего.

- И сколько народу вот в этой квартире жили?

- Да, Зорька появилась тогда...

- А сколько у нее детей было?

- У них было три, но Лека, по-моему, родилась в Москве. Одна Зоря только там была. Она младше меня года на два (перерыв в записи) Ну вот, так что...

- А она младше вас?

- Младше, да, была...

- А как ее полное имя – Зоя она?

- Зоря, Зоря, тогда было модно, все коммунисты называли, все эти партийные работники называли своих детей Зорями. А тем более, что улица-то Красных Зорь была, вот она родилась там. Вот, а следующие – Елена, Лека наша, она родилась, по-моему, в Москве. Так что так...

- И ваша семья там жила?

- Да. И ее потом, приехали ее подруги, какие-то подруги были, в ее потоке все время жили, она тоже их приняла, дала им комнату, тоже, тогда это можно было. Вот...

- А няня была...?

- Няня была...

- У вас была няня?

- У меня нет, у нас мама не сразу работала, так что она со мной возилась, потом маму устроил Григорий Федорович на работу, ведь была безработица. И устроил он ее в артель, была такая артель «Примус» на Обводном канале. И вот, а там был его приятель, тоже по подполью, помню, Пожаров такой, помню, Пожаров, он возглавлял эту артель и

мама там долго очень работала. Она горелки какие-то там делала, там, и устроила потом свою сестру, когда она приехала, вот, так что... вот так вот, можно было устроиться на работу только по великому благу, тогда же страшная была безработица.

- И когда мама начала работать – кто с вами был?

- Вот Наташа приехала, она со мной возилась...

- Наташа – это сестра?

- Младшая сестра [мамы]. Она со мной возилась, а потом... потом я сама по себе уже, в школу уже пошла.

- А няни не было?

- Няни были, были. У Беллы была, были домработницы у нас, были.

- Так они и за вами смотрели?

- Смотрели, да, была, была, даже две няни, я помню. Две няни были... они по очереди.

- Но няни были – одна ваша няня, другая – Зорина?

- Да, Зорина. Но у них свои няни, у меня своя няня была. Но они уехали – его перевели в Москву...

- Кого?

- Григория Федоровича. Его перевели в Москву где-то в 26-м, 27-м году, по-моему, в 27-м году его перевели в Москву. Он был председателем картографического треста, его туда перевели. Там он получил квартиру в Старо-Пименовском, а сюда стали въезжать люди, и вот там среди въехавших был Краузе Валентин Петрович, вот который, помните, мы говорили – химик, он связан был с Лебедевым, синтетический каучук, и он был расстрелян тоже, естественно. Этим занимается Светлана Константиновна...

- То есть после того, как дядя с тетей уехали в Москву, у вас стала коммунальная квартира?

- Квартира, да. Мы переехали вот в такую, хорошую комнату, считай, но там все были хорошие комнаты, вот, а постепенно стали съезжаться...

- Но у вас одна комната осталась?

- Одна, одна.

- А скажите, еще когда вы жили вот своей такой большой семьей, какие праздники, песни, общий стол – вот что у вас такое было?

- Вы знаете, осталось в памяти, вообще, что вообще весело как-то жили и часто у нас как-то слово было – вот я узнала впервые, что я еврейка, я узнала где-то, когда мне было лет восемь. Потому что... очень, да – мы же житомиряне. И вот часто вот именно вот эта компания житомирян, когда приезжали, всегда собирались у нас. Житомиряне. Житомиряне... а потом, мама стала работать, у нее появились приятельницы, и я помню, что у нас очень часто были просто такие, ну, веселые... ее приятельницы у нас жили часто, вот так. Вот так вот... но еврейских праздников у нас уже не соблюдалось, только, вот я говорю, эта линия, она поддерживалась маминой теткой, которая тоже переехала, сестрой ее отца. Они переехали в Ленинград, и вот она поддерживала вот эту линию всякую такую, знаете, национальную. Ну, в смысле, национальности...

- А как?

- Это... Ну, просто мы собирались, она устраивала обеды...

- Какие-нибудь специальные обеды?

- Обеды – да, конечно...

- Нет, специальные – это специальное ну это какое-нибудь...

- Да, конечно, конечно...

- А что было?

- Всегда было эссекфлейш, кисло-сладкое мясо

- Это что такое?

- Это мясо кисло-сладкое, такое, с соусом там с чем-то делается, это я знаю, из мяса, обязательно, чтобы маца была, ну, потом... ну, я даже не помню, эссефлейш это самое главное такое... Ну, потом печенья такие всякие это... Струдер вот этот...

- Это что такое?

- Струдер – это ну такой, рулет. Его вот так заворачивают, а внутрь там курага там, в общем, всякие фрукты такие, вот такой рулетик, это тоже по специальному рецепту. Но мама не умела это делать.

- А кто это делал?

- Это тетка, вот мамина тетка.

- Какая?

- Она сестра ее отца. Эстер сестра...

- Сестра вашего деда?

- Сестра деда. Вот она – она и ее муж...

- А они тоже переехали в Ленинград?

- Они переехали в Ленинград.

- А как вот эти семейные встречи – все-все родственники собирались?

- Ну тогда кто здесь, а остальные в Москве тогда были. Кто был, тот и собирался.

- Но это были какие-то специальные даты, нет?

- У нас, я очень хорошо помню, что на Пасху. Это Пасха у нас еврейская пасха самый праздник такой. Вот. А остальные праздники у нас как-то не соблюдались уже...

- А мама что-нибудь делала на Пасху?

- Нет.

- Ничего нет?

- Мама была абсолютно...

- А в синагогу вас кто-нибудь водил?

- Мы там в жизни не были, как-то один раз зашли...

- Когда? С мамой?

- Нет, даже с мамой. Потому что там рядом жили тетка моя Беллочка, она переехала, она рядом на Лермонтовском жила, мы зашли просто когда переехали... А так нет, у нас нет, совершенно не поддерживалась эта линия. Но между тем у нас как-то вот, моя мама, она... я не могу сказать, у нее среднее образование, так сказать, особых научных таких познаний у нее ничего этого не было, но в доме сохранялось такое – атмосфера уважения к религии. Вот я помню, что одна няня была очень религиозная, с уважением относились к ее, так сказать...

- Православная была?

- Православная, да и вообще как-то вот национальные, всякие национальные такие противостояния – и в квартире этого не было, понимаете, ведь разные люди, и никогда я не чувствовала, никогда.

- А вот скажите, эта коммунальная квартира – она с какого года стала коммунальной?

- Ну, 27-й, это примерно такой, 28-й – 27-й год.

- Ну вот расскажите об этом, о быте коммунальной квартиры

- Ну вот быт, ну вот... вот эта семья Краузе. Мы очень дружили. Очень дружили все. У нас никогда не было там склок, никогда. Вот разные люди – он был уже тогда ученым, он, что удивительно, простой милый человек (в этом плане [так?]), удивительно славной, такой крепыш – зимой и летом ходил без зимнего пальто, я помню. Всегда как-то они готовы были помочь, у него была очень славная жена, и сын – он, говорят, недавно умер – Валерьян – Владимир Ильич Ленин. Вот. Потом, были вот эта семья – тоже Светлана Константиновна Лопатина пишет о нем, тоже химики, тоже... Чертин был такой химик, в Химико-технологическом институте, Чертин Рувим. А жена у него была Некрасова, она была красный профессор, вот. У нее было... у нее было четверо детей, но потом маленькие умерли... А один из них приходил ко мне сюда – старший, Гелий. Он

немножко младше меня, вот мы все очень дружили. Все дети всегда были у меня, в комнате сидели.

- А у вас была своя комната?

- Нет, ну, одна комната большая. Одна большая комната, и в этой комнате всегда занималась там все время... И все дети там были – ко мне приходили, потому что я была старшая. Вот. Потом, у нас в квартире жил начальник милиции, который помогал оформлять новые паспорта, я помню, что всем теткам – они получили паспорта, причем какие-то выдумали фамилии им, он им помогал. Очень спокойная хорошая семья тоже была, очень спокойная и очень... у него мать такая была боевая, старушка, я помню, одевалась в мужское, танцевала, и там устраивала на кухне такой праздник общий. Большая кухня и вся квартира устраивала праздники, вот я запомнила, и она танцевала все... Вот это. Такие, в общем, очень.. просто как-то были очень нормальные человеческие отношения. Потом жил у нас такой Сергеев, он был директором Дома писателя. Вот, у него была прелестная жена, которая умерла, потом он женился еще раз, тоже славная была жена, Белла Марковна, она работала «Пирометре» [завод] каким-то партийным работником. Как-то друг друга старались не задевать, помогали. Учительница одна жила, преподавательница Малес, потом... а потом у нас была довольно противная такая – это такая простая очень пара, вот, он часто... муж и жена, он ее часто побивал, такая Ивановна, я помню. Вот она заняла нашу комнату, когда мы уехали, и она...

- Когда вы уехали, куда?

- Когда эвакуировали нас. Вот, и она, я помню хорошо, что она незадолго до этого... до войны она вступила в партию. И когда началась война, говорили, что коммунистов-то немцы будут... – «А я тогда скажу, если немцы придут,» – я очень хорошо помню, она сказала, – «а я тогда скажу, что я с партией во многом была не согласна». Вот такая была. Это вот единственные были люди такие... А вот эти Некрасовы – там целая семья такая жила, очень интересная тоже семья: бабушка там была, такая забитая бабушка, но вместе с тем она писала стихи, и я помню вот несколько книжек таких, этих тетрадей – она нам приносила. Это какая-то была очень талантливая семья, удивительно талантливая была семья, причем где-то на грани такой... аномалии, знаете, такой, потому что там один из ее сыновей, вот этой Полины Семеновны – он сошел с ума, причем он сидел у нас на кухне и все мирились с этим, все жалели, и там не было скандалов даже по этому поводу. Ну, я не знаю – как-то очень друг другу уступали, вот я помню... Потом у нас в квартире жила... она детский была психиатр, врач. Ксения... Ксения Михайловна, и у нее мама была – очень милые люди, я помню, что она лечила дочь Черкасова. Это вот Николая Константиновича Черкасова, артиста, у него же старшая дочка была ненормальная... Я помню, она у нас в квартире чуть пожар не... не в квартире, а во дворе они жили там. Я часто ее видела, она была... вот, родилась такой и она ее лечила. (перерыв в записи) Вот, и я помню, что даже во время войны старались друг другу помочь.

- Эльга Григорьевна, а вот скажите – а общие какие-нибудь там, не знаю – Новый год там, все по своим комнатам встречали или все вместе?

- вот единственный раз, я очень хорошо помню, как это было на кухне. Поставили все столы и вот встречали – не то Новый год, вот я не помню, но, в общем, было такое.

- А мама всегда елку покупала? Елку на Новый год всегда ставила?

- Елка у нас стояла, но я думаю, что это было где-то уже... я повзрослее была, потому что это одно время не одобрялось очень. А потом когда это в общем разрешили, я помню, мне поставили елку. Она стояла, я даже помню, где и собирались, у меня всегда собирался класс.

- Класс школьный?

- Школьный.

- А с папой до какого года вместе жили?

- Сейчас скажу... Где-то это было... ему пришлось в Петрозаводск уехать. Это где-то был 26-й, 27-й год. А после этого он уже вернулся в Москву и жил там с бабушкой – там бабушка, и тетя моя жили, в квартире...

- Но вы туда ездили, часто

- Ездили, ездили, очень часто. Я очень хорошо помню, вот у меня некоторые такие, знаете, детские воспоминания, что-то такое произвело впечатление – я очень хорошо помню отца в Москве. Он пришел домой, это был 32-й год, да, по-моему, 32-й год, он пришел и – я помню, он вообще очень веселый был человек, вообще там всегда хохмы, друг над другом подсмеивались, шутили, смеялись всегда, пели хорошо. И вот он пришел такой, прямо перекошенный, с лицом, и сказал – сейчас разрушили храм Христа Спасителя.

- В Москве?

- В Москве. Вот почему-то я это запомнила. Я была так поражена, я думала – ну и что, я не понимала, почему. И так они все переглянулись, и я поняла, что это его очень возмутило и... я запомнила. Вот такие вот моменты я помню очень хорошо. Но это было уже тридцать... Да, в 32-м году разрушили храм как раз.

- А воспитывала в основном мама?

- Мама, да. И в лет пять меня отдали в группу немецкую, немецкая была группа, там Луиза Карловна такая, я с ней гуляла, с ней училась – поэтому с пяти лет я уже читала, поэтому меня взяли в класс грамотный.

- А как вот это, эти группы – это дорого было? Это не все могли себе позволить?

- Ну, это в общем-то мама ужимала и себя, и там и отец нам помогал, часть давал, но тогда мы уже бедствовали, уже бедствовали. Но мама шла на то, чтобы [меня учить]...

- А как вам сейчас кажется – вот мамино воспитание, папино, теток, бабушки, дедушки – это были разные направления влияния или это все...

- Нет, мне кажется, это все было единое. Потому что, в общем-то, семья придерживалась каких-то принципов, понимаете?

- каких?

- Ну, мама была очень простодушная, и очень, конечно, то, что так у нас получилось, считаю так, что она была и наивна во многих вещах. Но она была, ну вот, очень честный человек. Она была очень честным человеком, и отец тоже. Вот такие, знаете, вещи, которые там не могли, в той семье, знаете, поэтому... Это... и мне много очень дала школа.

- Школа?

- Школа очень много дала. Потому что кто нас воспитывал – конечно, учителя. Это были бестужевки, это были, я ж попала в школу, и с первый по десятый класс я кончила эту школу – пансион бывшей Терезы Ольденбургской, это на площади Льва Толстого. Вот, и там были прекрасные преподаватели. Прекрасные, у нас вот особенно последние три класса, у нас был такой Павел Иванович, он бывший был актер, он литературу у нас преподавал. Ну я как сейчас помню его уроки. И там такие... и вот в нравственном воспитании, конечно, очень много нам дала школа. Ну и, конечно, да, мама – на личном примере все делалось, может быть, там, так сказать, не воспитывала словесно, но всегда все очень делала, я считаю, что воспитывать и детей, и народы надо воспитывать на личном примере.

- Ну как – мама что-нибудь требовала, за что-нибудь наказывала...

- За что-то наказывала, конечно...

- За что?

- Ну, сказала мне, там, я не знаю, за что-то так ... Ну что там... ну, она давала деньги на завтрак, давала, а я в филармонию покупала билеты. Прихожу домой, ну, и, конечно, там наедаюсь, мама приходит, говорит – что так булки много съела? Ну, значит, мне попадало, что я так... ну, не так, чтобы она меня наказывала, но так еще были такие...

- А споры какие-нибудь – о политике, о морали, были вот какие-то такие существенные конфликты с кем-нибудь в семье?

- Ну, может, жалкие какие-то были, мелкие может быть (перерыв в записи) Когда я была маленькая, я исключалась из этого, так что...

- Но при этом вас не прогоняли, вы же слушали?

- Нет. Ну, старались это делать, когда меня нет...

- Ну а о чем все-таки спорили?

- Ну не знаю, там все-таки очень быт заедал, конечно. Быт, безденежье – мы всегда очень нуждались, мы очень крепко нуждались. Мама тянула, работала, она и шила иногда, и все, так что... были ведь и периоды, когда отец совсем не работал. Его не принимали на работу. Были периоды такие. И маме приходилось тянуть и меня, и тетка, которая вот жила, и ее – так что, и за квартиру там, и платить, все. И так что это было всегда это очень-очень так ограниченно жили.

- А как мама отнеслась к тому, что отец вышел из партии?

- А ей, по-моему, это не особо [важно было]... Она просто волновалась, что будут неприятности. А так ее это не волновало, она вообще была аполитичной...

- Но тем не менее, вы же говорили о том, что антисталинские настроения были всегда.

- Да.

- А мама говорила об этом?

- Мама больше всего волновалась, чтобы было чем накормить, так что ее такие политические... я только, нет, я помню только, что мама расплакалась очень когда 4 апреля 54-го когда вот появилось сообщение о реабилитации врачей [по делу врачей], вот я помню, что мама очень плакала.

- Почему?

- Ну от радости. Тогда я поняла, что она все-таки переживала очень, она... все переживали. Ну а так я не помню ее, так сказать, каких-то политических пристрастий ни к Сталину, ни... Вот и она меня, когда Киров умер, вот она взяла меня, я тогда (в четвертом была классе, и мы с ней стояли в очереди, чтобы посмотреть Кирова [прощание с Кировым]), так что... Вот у нас, в нашем доме было отношение к Кирову такое.

- Какое?

- Ну, уважительное. Очень уважительное. Мы все были потрясены, конечно.

- А вот вы про школу начали рассказывать, что у вас такая была особенная школа, а...

- Нет, не то, чтобы особенная, просто был период такой. Но все-таки...

- Вы в каком году пошли в школу?

- В 40-м [окончила] Мне еще семи не было. Меня рано взяли в школу.

- Но вы же недолго в ней учились?

- Долго, десять лет.

- Так а как же – а эвакуация?

- Эвакуация – это уже в университете была.

- Так, значит, в каком году вы поступили в школу?

- В 40-м. Ой, в 30-м. А после закончила... Да, в 30-м, а кончила в 40-м. Так что я курс один Университета кончила.

- Вы в 30-м году поступили в школу, и в 40-м ее закончили?

- Закончила, да.

- Эльга Григорьевна, а вот в школе вы спорили о политике, о морали?

- Там нас... нам закрывали рты, вообще говорить... о морали нет, просто ну... вот я помню, однажды там... один мальчик там, от него я впервые услышала слово «жиды». И я помню, как его директор [ругал], у нас был такой в школе...

- А кто у вас был директор?

- А директор, тогда я помню, Максим Максимович, такой был высокий такой, я не знаю, кто он был, но это человек очень... его очень уважали. И я помню, что он так с этим парнем поговорил, и... очень наказывалось вообще. Потом все преподаватели, я вот всех преподавателей помню, у нас, конечно, были, такие... ну очень уважаемые люди. И, конечно, большие специалисты.

- Специалисты – в смысле, они хорошо...

- Они хорошо, они хорошо преподавали, это были... да, и люди по-настоящему интеллигентные и такие...

- А как вы вступали в пионеры?

- Все вступали и я вступила.

- А вы как-нибудь это понимали?

- Нет. Ну что вы, ну как же – Павлик Морозов, все, ну мы же все это, мы же были такие правверные, конечно. Вступали, и в комсомол я вступила...

- расскажите – что Павлик Морозов?

- Ну мы все верили в то, что он такой вот хороший, и вообще мы очень так, у нас к этому... принимали все за чистую монету.

- А Павлика Морозова вы в школе читали?

- Читали, я читала, да. Но я очень рано как-то удалилась, я читала, очень я любила «Трех мушкетеров», это была моя... И вообще много читала, очень, и мне не всегда такую литературу... я очень любила классику, вот я смотрю, сейчас ребят Тургенева не читают, а я же запоем все это читала, да.

- Так что мы больше это любили и советские там читали, всякие... Во всяком случае, мы были пионерами такими убежденными.

- Ну а какие были вот ваши любимые литературные герои?

- Я даже так сейчас не могу сказать...

- Ну вот вы сказали «Три мушкетера»...

- Ну, «Три мушкетера» у меня вообще настольная, у меня было академическое издание, которое, к сожалению, пропало, вот, и я обожала... обожала. Я перелистывала много раз, читала вот вещи такие... ну, там Жюль Верн, там, читала... Но и очень рано я начала читать и советскую литературу. Потому что, как-то... много, много я читала.

- Ну так а вот как в ряду этих книжек – Жюль Верна, Тургенева, Купера – как в этом ряду Павлик Морозов?

- Ну просто мы верили, что он вот такой хороший мальчик был, что он, вот, погиб из-за того, что он за правду, вот так. Нет, это... Пели «Барабанщика», верили тоже в это. И мы же... И потом, начиная вот с 36-го года, когда начались... у нас в классе же .... Мы собрались недавно, нашими остатками класса, нас было [на встрече] шесть человек.

- Вот сейчас шесть осталось?

- Да. Шесть человек собралось нас. Дочь Кошлякова..., и из шестерых вот, шесть человек, у четырех были арестованы родители.

- Ну а тогда вот, в 30-е годы – вы вообще понимали, что происходит в стране?

- Нет, не очень, я думаю, что нет. Но ужас, нет, конечно, когда начался процесс и когда мама встретила имя Григория Федоровича [в публикации газетной], и мы, конечно... вот тогда у нас, конечно, появились сомнения и неверие. Потому что мы знали этих людей, мы знали, что они никогда в жизни не совершали того, что им инкриминировалось. Мы знали. И я знала Григория Федоровича, мы его очень любили, он, действительно, был хорошим человеком. И я слушала, вот когда дед приходил и говорил, о том, что... мы знали, что это, в общем, неправда, что все это неправда.

- А дед переехал в Ленинград когда?

- Он, я даже не помню, он тоже в двадцать каком-то или 30-м году, вот так...

- Дед с бабушкой?

- Нет, бабушка поехала в Москву, опять-таки, со своими дочерьми, так вот получилось.

- Вот Клара Абрамовна поехала в Москву, а дед в Ленинграде.

- Да, тоже в силу каких-то причин, мне неизвестных, вот так вот получилось.

- И он здесь один жил?

- Он один жил, на Волковском проспекте, вот...

- Ну и при это вы с мамой все время к нему ходили?

- И мы ходили, и у он у нас все время, каждое воскресенье он у нас был. Каждое воскресенье он у нас был.

- А он кем работал в Ленинграде?

- Он член коллегии защитников, правозащитников – он выступал в суде, он ходил, он еще во время блокады ходил на работу. Он жил у нас тогда, он переехал с Волковского проспекта, жил у нас.

- А как вот на вас его воспитание отразилось?

- Я как-то не очень одобряла его, так сказать, высказывания такие...

- Какие?

- Он очень... анекдоты, он Сталина ненавидел. Ну как он мог его любить, если взяли трех его сыновей. У него четыре сына, трех сыновей посадили.

- Подождите, посадили же уже в 30-е. А до этого?

- А до этого... Я же была тогда маленькая, я не очень соображала. Стала соображать уже попозже немножко, вот, а потом он... но вместе с тем, дед, вот, я говорю, что... он Сталина он все... нет, я слышала даже, при мне он говорил, что я помню, в Житомире мы знали Троцкого, но мы не знали Сталина совершенно. Это я слышала очень много, он говорил так. Но, между тем, когда... при этом, когда Сталин выступил, знаменитая эта ..., его выступление 7 ноября на площади 41-го года, я помню, что дед даже плакал. Потому что, в общем, все были... ну, мне не хочется сейчас говорить это слово «патриотизм», потому что уж такое забытое слово, но во всяком случае какое-то ощущение было, ну, уверенности, что-то такое, поэтому...

- А почему вы спорили с дедом, когда он говорил про вот, говорил про то, какой Сталин плохой – почему вы с ним спорили?

- Ну потому что в школе-то нас все-таки учили... о Сталине мы не спорили. Но когда он иной раз такие он вещи говорил, которые у меня в школе... все-таки я учителям своим верила.

- А что он, например?

- Ну, я не помню, там, ну, говорил он и о... ну, там в основном вокруг Сталина, вокруг системы такой, какой-то такой... А я защищала свою пионерскую честь, ну а потом уже так ближе, когда начались все эти аресты и все, тогда, конечно, уже появились и сомнения...

- И вы это обсуждали с мамой?

- Нет, не обсуждали, боялись говорить об этом. Боялись говорить.

- И с мамой даже вы не обсуждали?

- Ну мама старалась, она мне говорила все время, что лучше молчать.

- Ну хорошо, вот арестовали дядю. А вы же об этом узнали?

- Да. (перерыв в записи)

- Да, так вот дядю арестовали – я начала вас спрашивать, да, и вы же не думали это... У вас с мамой же открытые были отношения?

- Да...

- Вы же не могли, все-таки еще это не обсуждать

- ... она очень была ... фраза такая тогда была – лес рубят, щепки летят. И она очень часто там повторялась, и мама, она связывала это с его, так сказать, с биографией и его отношением к партии, он вот это связывала...

- Ну а как она это связывала?

- Ну она иногда, она говорила, она, особенно она со мной, конечно, не делилась. Мне она приказала больше молчать, ничего не говорить, конечно. Мы потом узнали даже, что вот у кого кто арестован, потому что...

- В школе?

- В классе, да. И говорили шепотом, все об этом шепотом, у нас моя подружка, очень близкая подружка была – ее отец был профессором философии, Ральцевич такой, о нем вот [Войтоловская] пишет, там она о нем пишет. Вот. И вдруг дяди Васи не стало. Но Таечка [дочь его] молчала. Ну мы с ней встречались, мы вместе учились, там, все, потом случилось несчастье такое, она умерла, от менингита, она умирала, вот, и семью ее – маму и двое детей, их переселили, переселяли из большой квартиры в маленькую. И все только шепотом, и только так вот мы... мы очень напуганные были.

(перерыв в записи)

Кассета 1, сторона В

- Еще раз. Значит, вот это ваша школьная подруга. Когда выслали ее?

- Их. Она умерла в 37-м году, в 37-м она умерла где-то вот зимой, а летом выслали семью, в 37-м, или, может в начале... дело было летом. В 38-м году их выслали семью, и мы пошли провожать.

- Она уже умерла?

- Она умерла.

- А выслали кого?

- Отца, он сидел, а выслали, значит, ее маму с младшей сестрой и братом, причем у брата был полиомиелит, он был больной, и девочка была больная, и в 24 часа их выслали.

- Но ведь вы тогда в школе еще учились?

- В седьмом классе, да.

- И вы все это знали?

- Мы пошли ее провожать, больше того, мы тетю Олю пошли провожать, с моей подругой.

- А как вы в это время уже относились к вот тому, что происходит?

- Я не помню, чтобы мы как-то давали оценку. Вот я не могу понять, но мы были, конечно, все потрясены этим. Просто потрясены были. И в школе это не обсуждалось. Не говорилось, вот даже с подругами мы очень много не говорили по этому поводу. Потому что мы были в ужасе от того, что происходит. Не могли понять, не могли понять – в чем дело, что там такое? Может быть... Ну вот мама всегда говорила, что, ну, об отце она говорила, что он очень невосдержан был, и действительно, он мог, когда он, так сказать, что-то думал, он об этом говорил. И моя мама, она говорила – ну конечно, говорит, его язык его довел. Понимаете, ... понимаете, обобщений никаких они просто не могли сделать.

- а когда отца арестовали – что мама говорила?

- Мама говорила все то же, я не знаю ... В 37-м году его арестовали, 26 октября.  
(перерыв в записи)

- Скажите, а был кто-нибудь, кто был, ну вот, вот в этой большой семье – дедушки, бабушки, значит, тети, племянники, кто бы защищал политику вот сталинскую?

- Дело в том, что, задолго до ареста отца, в 35-м году, по-моему, арестовали, я не могу сказать точную дату, арестовали его младшего брата, вот этого Александра. Дядю Шуру арестовали. А это вообще был святой жизни человек, он такой был рассеянный, красавец, любимец женщин, вот такой вот, и вместе с тем с ужасно неудачной судьбой какой-то. У него... он жил где-то в общежитии, и ему подбросили... не то, чтобы он сам интересовался, может быть, и сам интересовался там этим, какую-то литературу – там такую, Троцкого и прочее, и прочее. Вот на этом деле его поймали, и был первый арест его. Его арестовали. И я очень хорошо помню, когда мы были в Москве, мы жили там у

отца, мы жили в одной комнате с этим дядей, и я помню, что он нам рассказывал, как его допрашивали, так ему, вот у меня осталось это впечатление, ему капали капли в одно место [пытка капающей водой], вы знаете (перерыв в записи)

- А он в каком году был арестован и в каком году он был освобожден? Не помните?

- Вот мы были в Москве, тогда это был... тридцатые годы. То есть он какой-то короткий срок, а потом его освободили. Но он все время был под надзором, потому что он, он не зафиксировал вообще – он имел высшее образование, но ему не давали работать. Ему не давали работать. Он и даже вот в этой книге (книга памяти «Бутово - Коммунарка»), он там как шофер или что-то такое, вот так вот он, потому что...

- А он был кто по образованию?

- Он... он кончал, по-моему, тоже какой-то гуманитарный вуз. Он кончал – он писал стихи, он был очень талантливым человеком, он читал нам про свои произведения, я помню, как-то ночью, мы были в Москве... но я очень его любила, и мама его очень любила. Удивительно мягкий, красивый человек был такой – я помню, он приехал к нам в Ленинград, после того как ..., сначала арестовали отца, а потом его, и он приехал к нам, и жил у нас дома. И я помню, как – у нас тогда тетки, тоже младшие мамы сестры были, и все их приятельницы – он был такой действительно хороший, что все приятельницы к нам приходили, и они у нас сидели, чтобы, так сказать, пообщаться. А он всех моментально... он и пел, он и все – ну, обаятельный был человек. И очень общительный – и очевидно где-то что-то тоже... знаете, ну сказать достаточно было того, что вот Григорий Федорович, и это... в общем, придаться было к чему. Ну вот, и вот с тех пор он все время был без... как-то он не мог, его не брали на работу. Он страшно бедствовал. Страшно бедствовал и жил где-то в общежитии, и там, в общем, особенно с ним, так сказать, судьба сыграла такую очень печальную... И я допросы читала, его сломали на допросе, его сломали на допросе, издевались... Ну я видела якобы признательные показания на своего отца – это не его почерком написано, не его, конечно – он же со мной все время переписывался, у меня же, я же письма его все сохранила, это не уничтожено ничего.

- переписывался когда?

- Со мной – вот когда он жил в Москве, я все время получала от него письма, и потом, когда... были и фотографии, и все... и от дяди Шуры даже получила я, я недавно обнаружила, даже письмо от дяди Шуры поздравительное, потому что они все время писали, были самые активные, такие, продолжали оставаться в нормальных человеческих отношениях, даже так вот... Вот, а после... после его разговоров и рассказов – вот тогда я стала очень сомневаться в правильности того... И потом еще сыграло еще какую роль – дело в том, что муж моей тетки, Жени, Жени, которая в Москве жила, мамина сестра, Женя, Евгения, он был крупным чиновником в НКВД.

- Как его звали?

- Его Эстрин Эдуард Львович. Дядя Дуся мы его звали. Вообще человек он был обаятельный, он был обаятельный, очаровательный человек. А его... на этом... у него был ромб, то есть это он был генералом. Его близкий очень друг, Миша Айзенберг, я его тоже обнаружила в «Бутово- Коммунарке», Миша Айзенберг – он курировал Рамзина, это я запомнила. И ему даже дали машину, я помню даже, что он ездил на этой машине. И я как-то, помню, мы жили в Москве, мы тоже были у тети Жени, и пришел дядя Дуся, он был пьян. С ним никогда такого не бывало. И, я помню, что у них две проходных комнаты, он прошел в комнату и там заперся. И бутылку принес в портфеле, пил, и туда пошли – меня туда не пустили, пошли туда мама и Женя, значит, пошли его спрашивать и потом мне мама рассказала, уже потом, говорит, что ему пришлось допрашивать – я не помню, или Примакова, или Пятакова - я не помню, кого-то он допрашивал. И он, рыдая, им говорил – я не стою его мизинца. Так что такие вот вещи тоже были.

- А вы откуда об этом узнали?

- Это мама мне рассказала.

- То есть мама все-таки рассказывала?

- Она рассказала, они пошли его там как-то приводить в чувство и потом она мне рассказала. Это было позже, потому что я еще тогда маленькая была, но я была потрясена, и это вообще осталось у меня в памяти, потому что я никогда его в таком виде и не видела. Он был очень... Его арестовали, конечно, и его старшего брата расстреляли, всех их расстреляли. И Мишу этого, Айзенберга, его арестовали и расстреляли, вот в «Бутово-Коммунарке» они, в этом списке. А дядя потом он вышел, он в бериевском в этом... в оттепели, он вышел, но он был совершенно сломленный...

- Это какой дядя?

- А вот этот муж Жени, он был, да, он вышел, но он был сломленный уже, он был сломленный, конечно. И когда началась война, он ушел к партизанам. Так что вот понимаете, вот такие и...

- То есть он успел выйти в эту оттепель 39-го года?

- 39-го.

- Эльга Григорьевна, значит, все же в семье же обсуждалось все это?

- Да. Во всяком случае так вот говорили не очень много, шепотом, но говорили. И, естественно, было же... у меня тогда появилось представление о том, что действительно на самом деле делается. Потому что если раньше так вот это как-то – мы не могли не верить, то потом, когда мы примерили это [на себя] было применено это к своей собственной семье, то, конечно, я сразу поняла, что это все не так.

- Но ведь среди ваших одноклассников тоже были такие же ребята, у которых арестовывали, вы знали что Грабарь [Грабарь-Шполянский, отец одноклассника] арестован?

- Не знала ничего, я не знала.

- И не обсуждалось?

- Он исчез и все.

- Отец у него исчез?

- Он исчез, отец, и исчез сам Юра [одноклассник], тоже ведь выслали потом. А Кошляков тоже – это уже позже было.

- Но неужели вы с девочками, с подругами не обсуждали – куда делся Юра Грабарь?

- Как-то... не знаю...

- Ну вот в один прекрасный день мальчик не приходит в школу.

- Да, он уехал куда-то... Я не помню, я даже не помню, как мы это обсуждали.

- Но а были вот в школе чтобы заставляли отказываться от родителей кого-то...

- При мне этого не было, я не помню, чтобы такое было. Когда я вступала в комсомол...

- Это в каком году было?

- Это было уже... какой это был?... 39-й год. Меня спросили, между прочим, где отец? И я сказала, что он арестован. Но я сказала, что мама... Меня спросили – он жил с вами? Я сказала, что нет. И вот чудный тогда был секретарь комсомола, он был такой понятливый человек, и он меня как-то больше не допрашивал ничего.

- Ну а из ваших подруг кого не приняли в комсомол, потому что у него родители были арестованы?

- Не помню, по-моему, у нас не было такого... Но мы уже знали, вот я говорю, что в 38-м году, когда провожали этот поезд, кошмарный, высланных, так у меня до сих пор лица людей, которые уехали, отправлялись этим поездом. Это было страшное. Это навсегда, на всю жизнь у меня это осталось в памяти.

- Вот этот поезд...

- Вот я помню лицо милиционера, когда мы пришли проводить, две девочки пришли четырнадцати лет, пришли и спросили у милиционера, где этот поезд, и он так посмотрел – девочки, это такой плохой поезд, не ходите. Мы пошли, и вот мы тетю Катю, когда пришли... и эта, эти... были обыкновенные плацкартные вагоны, и в каждом купе

набито было по десять там, двенадцать человек. И мы с ужасом смотрели, и потом этот отъезжающий поезд, и среди девочек я увидела многих из моего дома. Я помню вот сейчас их лица, этот дикий плач отъезжающего поезда. До сих пор это в памяти...

- Ну и вы, проводив поезд, вот вместе с подругой, вы обсуждали, что...

- Мы говорили, как, мы говорили, это ужасно, и что будет дальше...

- Ну то есть страх перед будущим?

- Страх перед будущим, непонимание, полное непонимание того, что происходит.

О чем мы могли говорить...?

- А скажите, а в школе какие-то доносы – были?

- Вот не помню. У нас все-таки всегда достойные были учителя, может быть, там среди учителей и было, но как-то до нас это не доходило. Потому что какая-то была высокая планка в таком нравственном отношении... Нет, не помню, не помню, чтобы такое было, во всяком случае в моем окружении – нет.

- А маму с работы не уволили после ареста отца?

- Нет.

- Но ее же вызывали, вы говорите, на допрос?

- Да, ее вызывали, но это было как-то... и ее оставили в покое. Она работала бухгалтером, она же потом кончила курсы счетоводов, бухгалтеров, и работала на «Комсомолке», но она в швейной, как и на «Ленфильме» она работала. Ее не трогали.

- А вот допрос, на который она пошла – расскажите - Вы знали, что маму вызвали на допрос?

- Да. Все очень боялись. Ну вот. Потом она пришла, она говорит, что ее вызвали, и следователь спрашивал – что вы думаете, что он там семечки грызет [следователь имел в виду новую семью отца]? А я им сказала – это мое дело. Ну вот, ну, дали подписать там, пропуск [на выход] и все, он долго с ней не разговаривал, я... так вот она говорила. Что с ним случилось, я знаю, и все. Но надо сказать, что вот вторую его жену, Ирину...

- Ее выслали?

- Не выслали, нет. Так что в этом плане вот нам повезло. И тетю, тетю Бетти тоже не выслали.

- А кого вот из жен в семье выслали?

- Никого, в общем... Ой, выслали... у меня же еще вот эта Ева, тетя Ева жила с..., она вторым браком, у нее второй брак был Емуранов. Он был главным редактором... они в Самаре жили, главным редактором «Самарской правды» или «Самарской...» какой-то газеты. И его арестовали в 38-м году. А ее выслали... до этого она жила в Ташкенте, у нее первый муж жил в Ташкенте, там дочка у нее была. А потом она вышла замуж за этого Георгия, я забыла его... Георгий Матвеевич, Емуранова, и она переехала в Самару. И ее выслали из Самары. Ее выслали из Самары в Ташкент. Когда туда же приехало все правительство во время войны, и во время войны ее оттуда выслали. А Георгий Матвеевич – его расстреляли прямо, говорят, в кабинете.

- В каком кабинете?

- В его кабинете его расстреляли...

- А как это стало известно?

- Я не знаю, это в порядке такой... Это его сын, брат мой, рассказывал.

- А вот скажите, вот эта – помните ли вы вот эту обстановку какую-то гнетущего страха? Не боялись ли вы, что маму завтра арестуют, не было вот такого страха?

- Страх не было. Но я помню, что однажды я... нам тогда настрого было вообще, мы боялись вообще говорить и думать, я помню, что однажды я сказала, уже когда Краузе, вот этот Краузе – они уехали от нас, они получили отдельную квартиру и там на этой квартире его арестовали. И приходили, и пришла няня, тоже няня с этим мальчиком и нам рассказали это. Я помню, что приехал его брат [брат Краузе], его брат и искал его. И я проговорила, сказала, что он арестован. Но я помню, что как я каялась, что от мамы мне попало – зачем ты вмешиваешься, ни в коем случае ничего не говори. Так что я

помню, что вот страх был, конечно. Тем в более, что в доме ведь, дом-то своего рода дом на набережной [в Москве], оттуда же ведь столько людей ушло... Очень много людей было арестовано, и вообще...

- А, скажите, вот было вот хотя бы иногда впечатление, что вот люди, которых арестовали – они в чем-то виноваты? Или этого не было?

- Нет. Я уже, после того, как отца арестовали, и вот, дядю Васю – что это ошибка, мы считали, что это ошибка и что кто-то там, кто-то есть виноватый, а эти люди уж так, вот я помню эту фразу, которую повторяли: «лес рубят – щепки летят». Это тогда это...

- Но никаких сомнений, что что-нибудь, действительно, кто-то из них виноват – таких сомнений не было?

- Только боялись... Нет, говорили вот об отце, мама всегда говорила – ну, что Гриша, конечно, где-то что-то сказал не то, что надо. Вот, а в том, что они предатели, что они – ни у кого не было ни малейшего, и никаких сомнений в том, что это неправда. Что это просто вот такая, такое поветрие, и все. И вот тогда и появилось вот такое сомнение по поводу вообще того, что делал Сталин, и все – это все же давно уже появилось, но как-то не оформлено, мы же не понимали, вообще были зомбированы. Это сейчас я часто так думаю – ну, Боже мой, девчонки – потом, ну, мы же были воспитаны комсомолом, и все, ну мы ж верили чему-то. И сойти с этого, как-то перестроиться – это же надо осмыслить все и видеть все в масштабе. А тогда мы не могли так, конечно, очень...

- А вот как – вы с подругами делились? Об арестах в семье?

- Мы... мы тогда с Раюшей тогда, ну как мы, мы снимали – это моя Раюша, подруга моя, мы и сейчас еще дружим, вот с ней мы ходили провожать [поезд ссыльных], но мы принимали это как факт.

- Ее Рая зовут?

- Рая. Мы принимали это как факт.

- А у нее в семье тоже были арестованы?

- Нет, у нее никого не арестовали. Никого. У нее отец очень рано умер...

- А вот это ощущение страха, оно было или...

- Я была... как-то мы не понимали, не понимали того, что... Мама, наверное, ощущала. А я нет.

- А вот доверие к людям? Вообще к государству – как оно вот сочеталось с арестами?

- Я думаю, что доверия особенного к правительству... к Сталину уже тогда появилось сомнения, очень все уважали Кирова. Кирова продолжали уважать, и, так сказать, все, связанное с ним, и все это... мученичество, так сказать, жертва – это относились к этому так. Ну а что касается других членов правительства, то они восторга просто не вызывали, не обсуждалось. И потом, ну, газеты – мы же, я помню, читали газеты. Мы получали газеты – мы же первые страницы никогда не читали. Мы читали последние страницы. Нам это было неинтересно, потому что настолько все было – уже тогда понимали, что это [вранье] Но когда, опять-таки, когда началась финская война, вот тогда вот сомнения очень были...

- А вот как, почему?

- А потому что, я помню, как... во-первых, не понимали, зачем мы туда лезем. И чем они виноваты. А потом... я очень хорошо помню, как возвращались финны с немецкой войны. Это Кировский проспект – мы их встречали. Эти лиловые лица...

- Военнопленные, да?

- Нет... Наши, наши. И вот тогда было очень крепкое по этому поводу сомнение того, в правильности того, что мы делали, насколько это справедливая война, насколько это... Я помню, как-то даже по этому поводу были разговоры, что действительно... какая же она справедливая, когда совсем все наоборот. И потом мы знали, что очень много людей погибло, и тогда уже об этом говорили.

- Но мне все-таки, вы знаете, непонятно – вы рассказываете о такой дружбе, вот, и в школе вы дружили, и в коммунальной квартире много друзей было, а но – вот как это сочеталось с тем страхом и запретом с ними говорить... Ну, как бы арест – это же событие? А именно об этом вы не говорили – вот как это сочеталось? Вы их боялись, вы считали, что они донос могут написать, или что – как это было?

- Не знаю, но просто был наложен запрет дома на все эти разговоры. Вот, я не знаю, мы были малы очень, между собой мы так переговаривались, а взрослые с нами ведь не очень-то разговаривали по этому поводу. Не очень разговаривали.

- Ну как – ну вот арестованы у Краузе, вы же дружили с его детьми?

- Да, с его детьми мы были да [дружны], младше меня, но конечно, там мама тогда была в ужасе. Я помню, что она говорила – Боже мой, Валентин Петрович, такой человек, такой... он получил один из первых орден Ленина, они же вместе с Лебедевым этот синтетический каучук, он же был – я помню, что за ним приезжала машина, это тогда было, когда машина приезжала, при этом он был удивительный человек, добрый, хороший. Конечно, это было... между собой говорили, что случилось, и там... потому что – ну, говорили, потому что немец. Он в Германии был, он в Германию ездил... [в командировку] Из-за того, что в Германии были. Понимаете, как-то не отдавали... вот я сейчас часто думаю, как-то не отдавали себе, мы не могли понять, как так, отчего это. Отчего это происходит – мы думали, что это временные какие-то ошибки, что это перестраховка какая-то. Ах, он был в Германии – значит, его кто-то завербовал, понимаете, вот таких уже. Хотя сомнения в том, что он порядочный человек ни у кого не было. Ни у кого не было. Потому что он действительно был очень хороший человек. Ну вот такое вот... Сейчас вот вам, понимаете, думать о психологии людей того времени с позиции сегодняшнего дня – нельзя, потому что мы сейчас многое понимаем. А тогда мы просто не понимали, и не могли даже осознать как-то и для себя сформулировать все это. Все казалось так – это нужно, это нужно, это нужно. Жили-то, Господи Боже мой, в нищете. Там эти индустриализация, коллективизация, а ведь я помню, как стояли ночами за мясом, и все это было на благо революции. Почему это нужно на благо революции? Почему на благо, понимаете... Ну, были какие-то по этому поводу тоже иллюзии, что действительно, это будет мировая революция, вообще...

- И вы в это верили?

- Ну, во всяком случае, как-то нас научили верить в это. Но уже в 39-м году и везде, я помню ... пошли, они ... все это стали понимать, что к чему. Это понимать, но я говорю, что сейчас оценивать мировоззрение людей того времени с позиций сегодняшнего дня просто нельзя, совершенно другое. (перерыв в записи)

Которые совершенно не знали о том, что были репрессии. Мы так хоть молчали, мы знали... У нас, вот моя близкая подруга тоже по этому, по Университету, и по школе, Леля – причем эта подруга Тамары Владимировны Петкевич. Они жили в одном доме. И она очень часто у них бывала. И вот Леля – она не знала, она вот, понимаете, они не знали даже, что были репрессии, потому что их не коснулось это совершенно. А тоже такой пример того, как вообще люди реагировали: меня вот в день реабилитации врачей... но до этого у нас была очень сложная обстановка, страшно сложная в музее [Музей Этнографии АН], потому что вот хотели убрать – у нас директор был Ефим Абрамович Мильштейн, кстати, это был коммунист правоверный, такой настоящий коммунист, но этот коммунист пригреб в это тяжелое время у себя в коллективе Гумилева [Льва Николаевича], меня с моим хорошим пунктом, потом, мать этого Марголиса, которую выгнали из педагогического института из-за мужа, потом, Кнорозов – это такой известный этнограф, он умер сейчас уже. Он письма майя расшифровывал, он тоже был запачкан оккупацией, там у него родители, он из Харькова, его нигде не принимали, и Ефим Абрамович его... [принял на работу] вот такие коммунисты были тоже, понимаете. (перерыв в записи)

- Это был какой год?

- 52-й, 53-й. В 53-м году как раз в начале января вся эта история была, но а вообще это были страшные годы – в 52-м году говорили о том, что формируются эшелоны, что отсылать будут евреев всех.

- И вот тогда был страх?

- Тогда был страх. У нас работали, были ... (перерыв в записи) В это время у нас в музее работали люди, которые писали доносы. Мы знали. Писали доносы на Ефима Абрамовича, вообще, ну там собралась компания еще была Авижанская, Лейкина, были значит, под этим флагом, ну и потом люди обозленные, была, как раз попала такая у нас, работала со мной, она училась со мной Марина Браун, ну вот она писала, и еще потом была компания реставраторов – и донос за доносом. И у нас началась массовая проверка драгоценных предметов, но это было по всем музеям тогда. И я вот рассказывала – там вот всякие были во свое время, в смысле ученых были погрешности очень сильные, даже в Оружейной палате, и все. Но это нужно было использовать как травлю директора, и персонажей, так сказать, против персон определенных. И поэтому у нас 51-й, 52-й и 53-й годы – это была сплошная проверка нашего этого золотого, так называемого, фонда.

- А что такое золотой фонд?

- Это драгоценные предметы. Это все драгоценные вещи, которые имеют драгоценные металлы - серебро и золото, в общем, все они должны быть учтены.

- В фонде музея этнографии?

- В музее, да. Должны быть учтены и сданы в ценную кладовую, они находились в ценной кладовой, в особом опечатанном [фонде]. А у нас ведь как писали раньше – записывали чисто визуально, ведь не было ни пробереров, никуда. И показалось, что серебряная – написали, что серебряная. А начинают апробировать – а она это простой металл. - Что вы заменили? И у нас, в общем, разгорелось очень крупное дело. К нам прислали начальника первого отдела, этакий с белыми глазами, чекист, значит, в галифе, который говорил там – «михалеор» [вместо мельхиор], ну, все они... Но он нас заклевал, мы должны были проверять все инвентарные книги и выписывать оттуда все серебро, и нас закрывали даже в кабинетах, нас не выпускали никуда, вообще была жуткая обстановка, 51-й, 52-й и 53-й год, кошмарная, мы только на этом и сидели. Особенно мне повезло [в переносном смысле], потому что у меня было два отдела – Кавказ и Средняя Азия, - самые золотые. Но там, я помню, разгорелось дело о какой-то чаше. О которой написано – написали «золотая чаша», а там золотом даже и не пахло, опять же, значит, пошла речь о том, что это заменили. Заменили. В общем, все против директора... И у нас самый такой, значит, кульминационный – начало 53-го года, я помню, что-то такое произошло у нас в кабинете, я была в кабинете главного хранителя, я там все, я хранитель была, и я сказала что-то против этой [стукачки]... Я ничего, я раздавала какие-то календарики – вот эту ерунду, и не дала этой... не дала этой Марине Браун, которая у нас этим [доносами] занималась, и она стала на меня орать: «Ты знаешь, ты вообще, я теперь-то знаю, что я тебе могу сделать... Я тебе знаешь, что могу сделать...». Я не знаю, как я сдержалась, я говорю – ты только не пугай, ради Бога, ты меня не пугай. В общем, был какой-то скандал. При молчаливом участии остальных, якобы моих таких, в общем, близких друзей. Одна из них была вот последней женой Бернштама. Вот. И тут, значит, 53-й, 4 апреля [публикация об отказе в обвинении «врачей-вредителей»], я помню, что я... (перерыв в записи) ну вот, и после этого, значит, 4 апреля, я бегом на работу, встречаю – такая была у нас Сара Алексеевна, подруга Варвары Ивановны, матери Марголиса, вот, ее встречаю по дороге, значит, она мне кричит – стой, стой, она мне рассказывает, мы с ней вдвоем плачем на углу Инженерной и Садовой. Я прихожу, и я рассказываю своим, значит, услышанное, так, зондирую почву. И что вы думаете, я слышу в ответ от моих... ну не друг, но во всяком случае сотрудников? Ты подожди еще, – мне сказала одна, – подожди... Потом – «Что? Как они могли сознаться? Краснодонцы, их пытали и они не сказали. А здесь – сознались». Это мне говорила Галя Бабанская, я ее считала умнее других, я с другими не спорила просто. Я говорю – Галя, ты вообще понимаешь, что ты

говоришь? Ты знаешь, в чем они сознавались? Но самое интересное, что именно те, о которых я думала очень плохо, такие простые, у нас вот такая была – четыре класса, она была во время войны директором музея. Дама умная такая. Она, когда я рассказала, ты иди-иди-иди, говорит, расскажи. Я ей рассказала. Она говорит – ты иди, я сейчас иду к Ефиму Абрамовичу, Ефим Абрамович об этом [должен знать] (перерыв в записи) Понимаете? И я, я была потрясена. И потом тоже у нас такая простецкая, она заведовала ценной кладовой, и обслуживанием, и уж она была очень уже пожилая, еле ходила, и я возила сундуки, тяжелые ради нее, она надо мной издевалась хорошенько. И я тоже пришла и думаю, я сейчас тебе расскажу, зараза такая, член партии. И говорю – ну, вот так, как вы относитесь, Елена Георгиевна. Она меня выслушала – где это написано? Я говорю – я сама по радио слышала. Знаешь, уходи. Я к Ефиму Абрамовичу иду. Вы знаете, меня вот поразило, вот они как-то отреагировали, потому что они к Ефиму Абрамовичу действительно хорошо относились, его все очень уважали. А вот эта, на второй день, моя Галя пришла ко мне, и она все-таки нашла – говорит, ты меня прости, пожалуйста, я вчера Александру Натанычу Бернштаму рассказала все, он говорит – ну я как ты могла такое говорить! Вот, понимаете – вот так вот могли люди – краснодонцы! Боже, что ты говоришь? Но этой Марине я таки отомстила – я отомстила, между прочим, неожиданно для себя. Она у нас любительница была подслушивать. И я однажды, мы что-то сидели в кабинете, я слышу – что-то скребется в дверь. И мне... я, значит, подошла, был какой-то бурный разговор, я, значит, подошла и хлопнула эту дверь, открыла. И ей угодил... Об этом не разговаривали. Но тут я почувствовала себя неловко, хотела ей чем-то помочь там, ну, холодным прижать, сделать что-то такое, все остальные сидели – молчали. И смотрели – у нас заведующая отделом - эта первая жена Бернштама, Анна Степановна, она у нас была главным хранителем, мать Тани Бернштам. Она же сидит, молча, она такая суровая была, и так посмотрела на меня благодарным взглядом. Потом я вышла из кабинета, там одна сотрудница вышла – вы хоть как следует ей дали? – говорит. Я как следует ей дала. (перерыв в записи) Видите, так что, люди, которые совершенно ничего, они... не знаю. И вот эта моя Леля – она близкий для меня довольно человек, она мне была признательная [за объяснение происходящего] – я ничего не знала об арестах. Ничего. Вот так как-то, ну... в школе мы были заняты своими делами, и учебой, и развлечениями, театрами, иплыли как-то по поверхности. А мы знали – нас просто заставляли молчать. Но мы тоже не могли вдуматься, я говорю, что осознание всего того, что произошло, мне пришло только вот здесь, в «Мемориале», когда я поняла весь масштаб того, что было.

- Ну а вы же знали и о высылке 35-го года, дворян. Знали же?

- Знали, и знали, что монахини, я помню, что монашки жили в этой... – их выслали.

Это мы знали. Знали, но мы шепотом говорили об этом. Шепотом.

- Эльга Григорьевна, а вот скажите – вот все-таки такое уважаемое место, музей этнографии, как же так происходило, что доносчикам не устраивали обструкций все, все вместе – их же мало было, вот сколько их было? О которых вы знали.

- Мы не о всех знали. Ну, я-то знала – ну, там троих-четверых я знала. Ну нет, это же нет, вообще...

- Вы их что, боялись, этих людей? Или вы ими брезговали? Как это?

- Вы знаете, мы их обходили. По мере возможности обходили, конечно. И старались с ними не соприкасаться, это да, но многие из них были членами партии, они лезли вперед, и их пускали, Господи – у нас взяли на работу человека, такой был Бойков, его выгнали из Русского музея за всякие такие дела. Русский музей смог от него избавиться. Он кандидат был наук...

- А как же они его выгнали-то?

- Они сумели как-то это устроить, тогда Пушкарев был [директором], Пушкарев это фигура. А они его трудоустроили к нам.

- Подождите, но это... но вы же знали, что его выгнали, потому что он доносчик?

- Если бы я принимала, принимала-то тогда дирекция.
- Нет, ну вам – все люди-то знали?
- Знали, знали его.
- А как узнали?
- Молва, молва, молва.
- Молва. То есть все знали, что вот этот человек доносчик...
- Знали, что он доносчик, да, что он сволочь.
- И сделать было ничего нельзя?

- Нет. Наоборот, уволили, уважаемого человека... Она была уже пожилая очень, сотрудница, для того, чтобы сделать рокировку и предоставить ему место. Его хотели поставить на главного хранителя. Но все были в ужасе от того, что он придет, и знали ему цену, и ему отвели архив. И он архив хорошенько перелопатил так. Потом, уже после его смерти, нашли материалы у него дома из архива.

- А как вы узнали? Как они доносы писали? Это было их собственное желание или...

- ... был у нас такой период в музее, у нас была директором такая Нестерова Мария Степановна, это человек, который пришел к нам тоже, ее трудоустроили из обкома партии, к нам прислали. Ну, она такая – правильная, - антисемитка, она об этом говорила, что евреи ее травят, там... И как ни странно, были люди, причем из таких тоже очень травмированных советской властью, но тем не менее, они нашли какую-то опору в ней, там в музее сложная обстановка была, всякие были взаимные отношения, и такая Татьяна Александровна Крюкова, к которой относились в общем с уважением, такой очень сотрудник очень... но тем не менее, будучи подружкой Гумилева, хорошей, она посылала и посылки там, и все...

- В смысле Льва?

- Льва, Льва. Тем не менее, она вдруг нашла вот ход к этой Марии Степановне. Вот этого я никак, вот этого я ей никогда в жизни не могла простить.

- А что значит ход?

- Ну, она была в подругах. Она была в подругах. И она обиженная, она обиженная была другими, одна там была Студенецкая – еврейка, Авижанская еврейка, вот это на этой... Но, в общем, она была в подругах у Марии Степановны. Вместе с этой Мариной Браун, она была у нее в подругах.

- Мария Степановна – это кто?

- Директор. Директор. Вот такие были... (перерыв в записи) Так что, знаете, вот такие были, это же все очень сложно. Сложные эти взаимные отношения, вот, и зависть, и там, в общем, все...

- Но вы сейчас рассказываете о тех, которые сами писали доносы? Их никто не принуждал?

- Нет, нет-нет. (перерыв в записи) Так что очень сложная обстановка, конечно, была, и эти постоянные соперничество, и все. И просто, меня поразило, как можно так – вот эта всеядность такая. Лишь бы человек был мне удобен и выгоден в данную минуту, такая была Татьяна Александровна Крюкова, она сама сидела, она персонаж был. Она сидела когда и в Чехословакии она была, и она лучший друг Дмитрия Сергеевича Лихачева, и Гумилева, и все – и тем не менее она нашла ход к этой Марии Степановне, которая... мы все прекрасно понимали, что она такое. Понимаете, так что, понимаете, вот такие вещи тоже бывали, на нашем... в общем, в музее она смотрелась.

- А скажите, это только вот в музее началось? А вот в школе этого не было?

- В школе я не ощущала.

- А в студенчестве?

- А в студенчестве, надо сказать, что у нас был все-таки прекрасный факультет. Восточный.

- Вы учились на восточном?

- Я поступала на филфак, а потом он отошел, этнографическое отделение – отделился восточный факультет, он в 44-м году отделился от филфака, и я оказалась на восточном, этнографическое отделение. Вот, поэтому и это был удивительный факультет, потому что там было академиков, среди них – Крачковский там, и Козин, все те люди, которые в свое время страдали, между прочим. Вера Ивановна Цинциус, которая сидела, вот, и там особая какая-то была обстановка... ну вот, не знаю, какой-то, ну, чистоты какой-то. И очень все побитые войной, пришли туда, и старались друг другу помочь, все же у меня ощущение такое осталось и от преподавательского, и очень дружили все. Очень дружили. У нас был курс – тринадцать человек. Это те, которые смогли восстановиться после войны. Там совершенно другое было...

- И там ничего такого не было?

- Нет, там этого я не знала.

- Эльга Григорьевна, а вот расскажите о смерти Сталина. Как вот, как ваша реакция, какая вокруг реакция...?

- У нас реакция была такая – что будет дальше? Потому что знали, что на Сталине, так сказать, держится, что кто возьмет власть. А поскольку ведь очень сгустились тучи, и в частности по национальному вопросу тогда, и кто, так сказать, возьмет власть в свои руки и как эта тема будет продолжена. Я помню, что мама прибежала домой, и говорит – ты знаешь, я сейчас встретила у ворот – два военных стояли и смеялись.

(конец записи)

Кассета №2, сторона А

- ...и что сказала?

- Что стоят военные и смеются. Маму это очень удивило. Потому что так всеобщая скорбь нависла тогда над страной, якобы. А у нас же было, конечно, другое настроение, потому что в 49-м году арестовали еще одного мужа еще одной тетки.

- Это кого?

- Это Окунь, здесь его дело тоже. Это Наташин, Наташи, вот маминой сестры.

- Ее муж был арестован?

- Арестован. Он был военпредом, на заводе здесь, который сейчас называется... в чугунной отрасли, там сестра моя работает, и его дочь сейчас работает. Он был инженер-артиллерист, военный полковник. И в 49-м году его арестовали. Я как раз была в экспедиции, и мама мне так написала, дала понять, что, значит, дело плохо.

- В 49-м году по космополитизму?

- По ленинградскому, по ленинградскому. Но его старший брат был в Америке в свое время, то есть он эмигрировал до революции, и рабочий, он приезжал сюда, и в свое время он оставил... Он умер и оставил наследство. У него не было семьи, и братья – два брата его здесь были. Чтобы... такое было там завещание, и когда Лазаря Львовича вызвали, сказали ему об этом, он спросил генерала – получать ему или нет. Он сказал – конечно, получай, ... Ну, в общем... ну там не только это, на него там целый, конечно, что он и вредитель, в общем, всякое на него. И поэтому он в 49-м году был арестован. (и он был отправлен в Ярцево [в лагерь], он там провел пять лет. вот, и мы, конечно, прежде всего думали о том, как это отразится и что это будет нам. Ну, в музее, конечно, вот опять же...

- Так и дядя был только один арестован, ничего больше не было?

- К этому времени – да, к этому времени. Но ведь об отце мы тоже ничего не знали, в общем-то, не знали. А он, арестованный, с ним переписывался, пока можно было переписываться, ...

Ну вот, а в музее меня поразила вот опять же эта Галя, она так рыдала по поводу смерти Сталина, ее так пробивает, ничего не знала... Вот, значит, было даже поползновение поехать туда...

- Куда?
- В Москву, чтобы его хоронить...
- Это у кого?
- Это Галя. Ну я сидела молчала, конечно. Молчала. Закрыла рот. И в основном у нас, так сказать, скорби не было по поводу гибели его, смерти как человека, а было по поводу того, что же будет дальше.
- Ну а какое было ощущение – страха за будущее или освобождения?
- Нет, освобождения мы еще не понимали. Вот, так – а во что это выльется? Что будет. Как... потому что, в общем, не верили никому, уже ведь совсем правительству, совсем, в общем-то, не верили. Потому что уже уважения не было, к правительству, не было. В этот момент, помню, там все...
- какое это ощущение?
- Ощущение, ну, ожидания какого-то – чего плохого либо хорошего. Во что это может вылиться. Потому что такая непредсказуемость там... это же в открытую говорили, что сейчас формируются эшелоны, для того, чтобы выселить всех евреев, и помню, потом, у очень многих были арестованы родители, и знакомые там были, и все мы не знали, что дальше-то будет. Как повернется их судьба. Наша судьба. Вот это...
- Эльга Григорьевна, еще расскажите, когда был отец арестован, дяди, а жены – ведь никто не был выслан?
- Не было, повезло.
- А скажите, как искали, как узнавали о судьбе – как это было?
- Вот единственное, о моем отце, поскольку он в Москве был арестован, я вообще не могла ничего ни написать, ни... боялись. А вот я вам рассказывала, вот эта Лида, пошла...
- Подождите, а мама ездила в Москву?
- Нет, нет, не ездила.
- Писала что-нибудь?
- Нет, ничего, это было – мы понимали, что это совершенно бесполезно, что... и тетя Бетти, там они – они просто ничего не могли сделать. Потому что они понимали полную беспомощность, они понимали силу этой власти. И все ее возможности. И я думаю, что не пытались ничего сделать. А вот единственный, кто, там на примере этой Лиды, дочери Григория Федоровича. (перерыв в записи) Она пошла и закончилось тем, что ее выслали. (перерыв в записи)
- дочка Григория Федоровича – что она стала делать?
- Она пошла, пятнадцать лет ей было, и ее послали узнать, ну, решили, что девочка пойдет узнавать о судьбе отца, и она не вернулась, ее выслали. И она умерла в восемнадцать лет, кажется, в ссылке.
- А мать не тронули ее?
- А... нет, тетю Бетти не тронули. Тетю Бетти не тронули.
- А в каком году она пошла узнавать? Это какой год был?
- Тридцать... его в 34-м, где-то в 35-м году. В 34-м году, сразу после смерти Кирова арестовали.
- Да, но его арестовали в Москве?
- В Москве.
- В Москве. И она пошла в Москве?
- В Москве.
- То есть она пошла на Лубянку...
- Естественно.
- И с Лубянки она не вернулась?
- Она не вернулась, ее сразу же... уже
- А как мать ее – искала или что? Дальше-то что было?

- Я дальше не знаю. Просто я, честно, не знаю. Это тетя Бетти. Потому что тети Бетти сама все скрывалась, у нее [у Лиды] мать уже тогда умерла, первая жена его, Григория Федоровича. Первая жена – мать, а моя тетка была вторая жена его. Вот и его не... боялись.

- А это была дочка от первого брака?

- От первого брака. А потом у него уже третья была жена, после тети Бетти, может быть, поэтому ее и не тронули, тетю Бетти, потому что у него была третья жена. Ту таки тронули – выслали. Ее выслали.

- Ну а вот расскажите, а как вы узнавали про судьбу отца? Значит, вы ничего не знали...

- Ничего не знали, да.

- И до 53-го года вы ничего не знали...

- Нет, до 56-го даже.

- А в 56-м что?

- А в 56-м году, когда вот началась волна этих реабилитаций, вот я, например, мы переписывались все время с тетей Бетти, мы все время переписывались, она держала нас всех под надзором, я тут же ей написала, что тетя Бетти, я знаю, что вам очень много пишут всяких... я хочу принять участие и написать. И она мне все написала, как мне нужно заявление написать, и я написала заявление, на заявлении – куда, что, вот, и потом я, значит, помню, что проездом была в Москве, и сидела на Кирова, там была приемная [КГБ], очень хорошо помню, как приехала машина, там мы около нее сидели люди, подъехала машина и выгрузили два мешка. И вот какая-то женщина сказала – вот, говорит, судьбы человеческие привезли.

- А что это были за мешки?

- Это мешки с документами репрессированных. Потому что там сидели люди с тем же, с чем и я сидела. Вот тогда я получила первую реабилитацию, то есть не реабилитацию, а что... как это называлось – что... там очень уклончивая была формулировка, сейчас я не могу вспомнить, вот, я получила первые документы. И что я получу, значит, с уведомлением, что я могу в своем ЗАГСе сведения о его судьбе. И потом в ЗАГСе мне дали, что он умер в 40-м году, 3 августа, и с прочерком. Получила первое...

- Но а вы уже не надеялись в 56-м году, что отец жив?

- Конечно, в глубине души я надеялась.

- А когда вы поняли, что он не в лагере? Что он расстрелян?

- Я думаю, что сразу как-то поняли, что он...

- Сразу?

- Сразу. И даже тогда, когда я это все получила, и тетя Бетти, которая была, так сказать, весьма искушена в этих делах, она мне сказала – не верь ни единому слову. Не верь этой справке из ЗАГСа.

- А почему тетя Бетти так хорошо понимала?

- Она юрист.

- Ну и что? Это же не юридические...

- Она просто общалась с очень многими людьми репрессированными, так что она очень много вызволила даже не родственников, а очень знакомых, и у нее был очень хороший опыт знакомых, и она всем писала эти справки, она просто вращалась в этом, среди этих людей. И она лучше понимала, что делалось в НКВД, чем я.

- И вы сразу узнали, что эта справка фальшивая?

- Да, она мне сказала – не верь ни единому слову.

- И вы поняли, что он был расстрелян в 38-м?

- Да, я понимала, что он, в каком году я не знала, но во всяком случае я понимала, что это... Ведь в деле все это настолько цинично было – на последней странице там приговор: Ульрих подписывает, значит, первого сентября 38-го года он приговорен к расстрелу и приговор приведен в исполнение, и тут же подклеена, значит, вот эта справка,

значит, мой запрос, и ответ, что, значит, он умер в 40-м году 3 августа. Тут же, на одной странице буквально все. Так что, Господи...

- А кто из родных вернулся?

- Вот Лазарь Львович вернулся.

- Лазарь – это...?

- Это муж Наташи. Он вернулся, да. Он раньше всех, понимаете, он не подписал обвинение. Он не подписал обвинение, и поэтому...

- А как его фамилия?

- Окунев. Окунев Лазарь Львович. И он не подписал обвинение, когда ему там еще предъявляли, били его там на этом... на Шпалерной, а он не подписал обвинение. И поэтому его раньше других выпустили. А он сидел с очень многими там ..., университетские сидели...

- Его уже в 54-м освободили?

- Его освободили, нет, по-моему, в 55-м. В 55-м он вернулся, пришел.

- А вот скажите – вот он вернулся, как после возвращения отношения сложились?

- Ну нормально, он вернулся в семью, все нормально, все было нормально. Надо сказать, что он человек очень такой, ну, жизнерадостный, причем у них там компания такая собралась...

- Где?

- Вот в Ярцево [в лагере]. Там весь университет сидел. Он сам-то... не очень, в смысле, так сказать – литературы и всего, ну, он был военный человек такой, любитель компаний, выпить, и там он нашел себе очень хороших... потому что он сам очень добрый хороший человек, и он... его сделали заведующим баней. И вот он рассказывал, что там сидели с уголовниками, так уголовники бросали ему в лицо свое белье, что там приходилось стирать. Но он как-то все это с юмором, я не могу сказать, чтобы он вышел оттуда надломленным. Здоровье – да, а нравственно как-то... После этого опять компании приходили, все они собирались, и там это приезжает, опять компании, они вспоминали, как они там сидели, ну это был, конечно, не 37-й год. Ну вот.

- А скажите, вот – он же был членом партии?

- Конечно. Его восстановили в партии.

- А как он к этому отнесся?

- Ну, как должное.

- Не, у него изменились вот его взгляды, политические убеждения?

- Он особенно... мы жили всегда двойной жизнью. С одной стороны – это так, а с другой стороны, конечно – верили, веры не было. И такой... и озлобленности не было. Вот я не помню, чтобы он был... он был всегда рубаха-парень, вот такой вот.

- Эльга Григорьевна, а вот вам в 55-м году, когда он вернулся, было интересно его расспросить о том, что там?

- Да, мы спрашивали...

- Вы же еще не знали, отец как...

- Да. Мы у него спрашивали, он рассказывал, он рассказывал много.

- А что он вот такого особенного рассказывал, что на вас произвело впечатление?

- Ну, меня поразило то, что его здорово били, на Шпалерной. Как его били, они выколачивали из него... на него писал донос причем его тоже бывший приятель, который жил в этом доме. Он написал на него донос. И после этого он с ним встречался, на одной, по лестнице ходил, Болотов такой, я помню, его

- И дядя это знал?

- Дядя знал. Ну, что пришивали... пришили к делу, во-первых, то, что он покупал журнал «Америка», пришили к делу, и его старший сын, Лева, пошел сдавать экзамены в школу, и написал маме вот эту записку – «Мама, молись за меня Богу». Что я пошел сдать экзамены. И это дело пришили к делу. Эту записку пришили к делу. Понимаете, такое было даже... Ну, набор ведь все.

- Эльга Григорьевна, меня вот еще что интересует – ваше семейное общение – вы же все общались, да, вот все тети, дяди, и сейчас этот круг остается, да?

- Да, сейчас мы ... умерли все дяди, тети. Естественно.

- это понятно. А вот у вас двоюродные сестры...

- Да.

- Это кто?

- Двоюродные сестры у меня, вот эти - вот Федоровские, недавно умерла его самая старшая дочка, которой было уже за девяносто лет, она умерла прошлым летом, а вот сейчас в декабре умерла Зоря. Зоря, у нее был рак, но ей сделали такую операцию, что она умерла. Занесли инфекцию, она умерла. Она была доктор наук, преподавала в Плехановском юристам.

- вы со всеми сохранили отношения?

- Мы общаемся...

- Ну а вот из ваших двоюродных братьев и сестер кто сейчас есть?

- У меня вот со стороны отца, значит, мой вот брат, который по отцу – Сережа, он журналист, на телевидении, Сергей Торчинский, он вел «Без ретуши». Мы с ним общаемся...

- Это от его второго, следующего брака?

- Да, да. Но он появился на свет... отца взяли в октябре 37-го, а он появился на свет 20-го апреля 38-го. Так что он... вот. Я с ним общаюсь, и когда бываю в Москве, у него дома, все...

- А когда вы с ним познакомились?

- Маленьким был, я приезжала в Москву, вот, а потом приезжала и каждый раз я с ним встречалась. Потом...

- То есть вы с ним еще до войны, вы его до войны знали?

- Я его маленьким, 38-й год, он был маленьким, а после войны он... вот тетя Бетти, это тетя Бетти все она... потому что он попал в очень нехорошую компанию, она как-то его вытащила оттуда и он закончил журналистское отделение, стал человеком. Вот. Ну и потом вот со стороны у меня сестра... которая моя самая близкая, Наташа, тети Анина дочь, с которой я, всегда к ней езжу. Эта тетя Аня – папина сестра. И вот две... три были сестры Федоровы со всеми тоже...

- Ну а сейчас вот кто остался – вот ваш брат...

- Брат, Наташа и вот Лека, и Светлана. Они остались. Потому что два брата моих они тоже. И сестра одна, многих уже нет. А потом, с маминой стороны – у меня там тоже сестра одна есть, Ниночка, я тоже с ними общаюсь. В Москве. И потом здесь, в Ленинграде у меня два брата и сестра...

- Это...

- Двоюродные. Это Окуни два, потому что старший сын тоже умер, рак мозга, была опухоль, Лева умер, в 76-м году. И вот Белочки, самый младший Белочки, это тоже брат, потому что дочка и младшая его сестра умерла, четыре года тому назад. Вот так уже...

- Эльга Григорьевна, скажите, когда вы уже учились, потом работали, были какие-нибудь у вас ну вот такие явные случаи дискриминации – либо из-за того, что у вас отец был арестован, либо из-за национальных...

- Из-за национальных было.

- А много таких случаев было?

- Да вы знаете, мне всегда давали понять, что меня... причем на этом деле очень хорошо спекулировали.

- Ну когда – когда вы учились ничего подобного не было?

- Нет, когда училась, нет, я ничего не могу сказать.

- И когда вы поступали учиться?

- Ну, я когда поступала – нет, это все было нормально, а когда я приехала...

- Ну когда вы в анкете же писали, что отец... Что выписали?

- Умер.

- А, вы писали «отец умер».

- Умер, да. Во всяком случае, я представляла, что так оно и есть, на самом деле было. Вот, и на работе то же самое.

- И при поступлении на работу в анкетах...

- Да, да.

- А когда вы поступали в институт, вы писали, что вы еврейка и что...

- Да, конечно

- И ничего за этим не следовало?

- Нет, когда я поступала в 40-м, тогда еще как-то это не очень, так сказать, акцентировалось. А когда я восстановилась [в университете], вообще была у нас сказка, потому что я... ведь университет раньше уехал, я-то оставалась, я уехала 4 июля, нас увезли, и я написала из Куйбышева, я была в Куйбышеве, я написала письмо «на деревню дедушке» - университет, ректору. И я написала, что могу ли я восстановиться, так и так, и так. Без всякой надежды получить. И вдруг на дирекцию завода, где я работала, Севкабель такой, я получаю письмо. Меня вызывают в дирекции, вручают, что вы восстановлены, приезжайте, вы можете продолжать. И вот когда я пришла, я прихожу в деканат, и меня встречают как родную, без всякого – без документов, без всего – как мы рады, что вы приехали. Вот такая была обстановка тогда в университете.

- И вот все вот – все притеснения, ну вот все вот эти проблемы, они начались только в музее?

- В музее, в музее. Вот так вот – да.

- Скажите, а что вот еще, вот кроме той истории 52-го года, что еще было?

- Ну, все-таки давали понять, что ты, дескать, не очень так... Я помню, что давали понять... Понимаете, там была такая история – создавался отдел хранения. А заведующая моя – я сохранила к ней большое уважение как к сотруднику, как к работнику, вообще она была умный человек, но она была с гипертрофированным честолюбием очень. И она не терпела совершенно независимости, а я всегда претендовала, значит, на независимость. И поэтому когда стали создавать отдел хранения, тогда, значит, ну, в отделе хранения нужно работать – она спихнула меня туда. Я не отказывалась. Вот, и мало того, мне еще, помимо того, что Кавказ у меня специальность, мне дополнили мне Средней Азией, так отдельно. Вот, но когда я стала возмущаться, тогда мне сказали, что ты вообще молчи.

- Ну и вот как они формулировали, и кто?

- А мне так и сказали, что, вы понимаете, что вы можете оказаться на улице. А так как я полгода была без работы, то, естественно, что я... Мы тогда с Львом Николаевичем Гумилевым готовы были лизать эти самые ступеньки, музея, потому что мы получили, наконец, работу, мы же работу никак... Ну вот так вот с нами поступали.

- А еще, потом?

- А потом вот эта... ну, ты, конечно... там заграничные начались командировки...

- Это когда?

- Это уже началось поздно, в шести[десятиях]... к нам Сергеев пришел в 68-м, тогда даже и... да, в 68-м году. Тогда делали общую там, причем мы, конечно, трудились больше всего, мы отбирали вещи, делали, составляли экспозиционный план. Они не взяли нас с этими выставками, ездили у нас... у нас такая была главный хранитель, прелестная – она была дезинфектор. Она очень дама такая... Волухова ее фамилия, очень ограниченный, человек, ну вот, она очень хотела все знать, что делается в музее, а у нас как раз персональные дела, у нас такой был завхоз, ну, заместитель директора, ну там хозяйственные дела, у него там всякие были – Крупенин и прочие, и прочие, и, я так помню, - член партии, разбиралось это на партийных собраниях. А она безумно была охоча до этих дел, поэтому... а у нас только коммутатор поставили, и она сидела на коммутаторе и подслушивала разговоры. Потом в конце концов, пришла к нам и говорит – девочки, вы знаете, мне так надоело подслушивать, я хочу все знать, я вступаю в партию.

Мы сказали – Лиза, тебе туда и дорога. И Лиза туда пошла, и она не пошла мимо, просто ее сделали главным хранителем. Когда в [голове] был чердак закрыт, вот с этими разбитыми окнами, она ничего... я так до конца и не поняла, что она делает. Но она ездила за границу. И нам откровенно говорили, что даже и не... там у нас был очень серьезный Гамбург такой, действительно, голова большая, ну вот, и его не пустили. Помню, поехали люди, которые не делали выставку, но с партийным билетом, там их пропустили. Так что... нет, у нас разгорелся скандал, однажды, с этой Марьей Степановной, тоже, потому что кто-то донес про какие-то дела и был грандиозный скандал, вызывали и там ..., в общем, тогда досье уже было – это было, да, было. Именно в музее. И там все [кто хотел], ну, к этому хорошо пристраивались, мне было противно. Некоторые, так сказать, непосредственно участвовали, а некоторые неприятно было подходить [к ним], старались для себя урвать...

- А когда вы окончательно узнали о судьбе отца и судьбе дяди? Всех?

- Я сейчас скажу, вот окончательно это было в 90-е... я забыла... в 92-м, в девяносто... да, вот когда... да, мне написали из Москвы, вот эти мои сестры, это было уже вот после перестройки, вот эти – где-то 89-й, 90-й год. Нет, то, что он умер, я уже верила, а вот эту справку о расстреле – это уже было, по-моему, где-то девяностые, вот после перестройки, когда вторая волна пошла реабилитаций, вот тогда я получила.

(конец записи)

#### Кассета №3, сторона А

- Расскажите про начало войны и вообще про все, что было в Питере, в эвакуации...

- Я хотела еще немножко о своем дяде, не рассказала о своем дяде... Так что вот... у отца их было четыре брата, и только одному удалось уцелеть. Вот, потому что жил в Баку и на такой работе был не очень видной. Поэтому его не арестовали. Остальные были арестованы. Я уже говорила, значит мой отец, потом младший – Александр был арестован, тоже в Бутово, тоже расстрел, и самый младший, Соломон, он был... кончал Фрунзенское наше училище морское. Он был морским летчиком...

- Это как – морским летчиком?

- Там вот такая специальность была – морской летчик. Ну, он был назначен... кончил училище, были друзья замечательные, там все, все очень хорошо. Он такой, очень наивный... ну, далекий от политики, в общем, был человек всегда. Но тем не менее, он, конечно, шел по пути – комсомолец, член партии, там как полагалось, ну и он получил назначение сначала в Севастополь, он в Ейске был, потом в Севастополе, по-моему, вот так. В этот момент арестовали Григория Федоровича, это мужа тети, и, в общем, дошло это и до Севастополя. И, потом, я не знаю, мне так рассказывали, что он... в общем, какая-то записка была, переданная им во время обсуждения... собрания, он написал – «Нам не страшен серый волк». И это было, так сказать, тоже использовано - в таких, так сказать, обвинительных моментах.

- А что значит на собрании? Какое собрание?

- Это собрание тоже посвященное как раз, когда разбор был всех врагов народа, вот это – 34-й год, после смерти Кирова и, по всей видимости, так, я так поняла, я не могу сказать точно, но я знаю, что такая записочка была, значит, им пущена – «Нам не страшен серый волк». И, это было, значит, так воспринято, там решили... Короче говоря, его арестовали. Его арестовали и...

- В каком году его арестовали?

- Это был 35-й, 36-й год, вот так вот его арестовали... Нет, его арестовали позже, позже – отца моего в 37-м, и его, в общем, тоже самое – в 37-м году его арестовали. И я знаю, что он долго сидел в тюрьме, а потом его выслали в Джалбул. Там такая ссылка

была. И он работал там... долго устроиться, конечно, не мог, потому что высланный. Он работал фотографом. Когда началась война он пошел в военкомат и, значит, просил, чтобы его взяли на фронт летчиком. Ему отказали. И вот так рассказывают – его жена рассказывала, что после этого у него начались, в общем, такие были, в общем, такой синдром боязни. Он пришел, вот домой когда, она [жена] рассказывала, значит, и спрятался под стол, под кровать, [говорил] за ним охотятся, его хотят... В общем, началась, и все это перешло в совершенно грустные вещи, периодически. Причем он был здоровый, красивый очень человек, очень, и все очень его любили. И вот так периодически ...

- Это уже после войны?..

- Это было когда 41-й год, это в 41-м году у него началось, когда началась война. Именно потому, что его не взяли, так [жена] так говорит, там сказали – кто ты и что ты [ссылный], и я думаю, на него это так подействовало. Короче говоря, в общем, во время войны они были там в Джамбуле, но он не терял связь со своими друзьями старыми, бывают такие люди. Его очень любили, я помню, что когда он учился в Ленинграде, у нас дом был вечно всегда сбор этих всех, то есть приходили курсанты, молодые мамы сестры, и, в общем, у нас всегда было очень весело. Они приходили, и, действительно были... оказались такими большими друзьями. И среди этих друзей был так, Чироков, контр-адмирал, большой очень пост занимал, и он вытащил его из Джамбула. Вот так, такие люди бывают, рискуя своей репутацией, всем, он его вытащил и переселил в Ригу.

- А что значит вытащил? Он в Джамбуле кем работал?

- Фотографом. Фотографом. И он [контр-адмирал] смог это устроить, их переезд в Ригу. Там к себе поближе.

- Это в каком году?

- Это было сразу после войны, после войны, в общем, пятидесятые годы, где-то и в Риге как раз была мамина сестра, они очень все дружили, и были знакомы столько... И так оказались у нас в Риге такое... родственники и с маминой стороны, и сейчас там остались, в общем. Вот, и он его перетащил, устроил его на какую-то работку, где-то он там дежурил, в общем, он же не мог, потому что периодически попадал в больницу [психиатрическую].

- Это уже в Риге? Или еще в Джамбуле тоже?

- Нет-нет, в Риге, в Риге он периодически попадал в больницу, И у него, в общем у него на этой почве начались эти явления. У него явно, у него как начиналось, у него на политические темы, и тут [жена] рассказывает, что когда после речи Хрущева, после доклада Хрущева, он открыл... он был один почему-то дома, открыл окно и стал кричать, там что-то, не то там «Да здравствует Советская власть!», не то там что-то такое, в общем, явно уже... уже ненормальный, уже у него патология началась. он часто, в общем... очаровательный, его все любили очень, всегда его и друзья, и здесь были встречи этих курсантов, я помню, и он приезжал сюда, и с таким он потом рассказывал об этих встречах, знаешь, говорит, они все вспомнили, что я пою, и я пел, и мне понравилось, как на вокзале он провожал, маме он рассказывал, он такой был счастливый, такой очень... Такой очень здоровый человек, ну и что вы, если мой отец, и вот дядя Шура, они все-таки были связаны с какой-то, и у них все-таки поводы, так сказать, какие-то были, имелись, и все, но он рос вот как советский и вот такой парень, попал в морское там, а там такая обстановка, и очень хорошие друзья, и все, и вдруг вот такая вот история... Умер в 84-м году, в Риге.

- А вы с ним в детстве, в вашем детстве, вы с ним общались?

- Ну а он же, когда он учился, в Кронштадте он был, он каждый раз к нам приезжал, он ночевал у нас, я говорю – целый этот, целый своих приятелей целую команду приводил и тут мамы сестры тоже, мама их... младшие, и я помню, что у нас было всегда ужасно весело, как мне помнится – все собирались, потому что эти красивые, веселые, пели, и всегда очень было весело, причем все всегда очень любили шутить, это

... друг над другом, так они немножко так подшучивали все, всегда было очень весело. Да, конечно, он все время... И потом, когда даже в Джамбуле, он был, и началась блокада, я помню, мы получили от него телеграмму, чтоб мы приехали туда. Так что у нас связи всегда были, и когда в Риге он жил, и там ездили, и с его женой, я очень его жену любила... И сейчас там у меня сестры – сестра там в Риге осталась.

- И его дети?

- И его дети там тоже остались.

- А дети у него еще до войны, еще до ареста?..

- До войны. Нет, вот Поленька, она уже после ареста, причем родилась дочка, а сын. Вот, так что вот такая вот судьба..

- Вы перед войной...

- В университете. Кончала первый курс университета, на филфаке. Я была... я вот сейчас читала этих самых... И там они все вспоминают именно те места, в которых мне довелось побывать... Когда уже мне эту книгу презентовали – все читала - Батецкая станция, Шимск, Новгород, мы там расположились в лесу, и я помню, что на нас бросали эти прокламации, там ...

- А какие прокламации?

- А немецкие прокламации, там, значит, были эти еще и пропуск...

- Какой пропуск?

- Пропуск туда к ним. Вот, и я очень хорошо помню...

- А как к этому относились? Вот сыпятся эти прокламации, и что?

- Ну, что? С издевкой, в общем. ...И вот однажды нас ночью подняли, все побежали, по-моему, в лесок побежали.

- Где вас подняли?

- Ну, в палатках своих, мы же в лесу, мы же из деревьев сделали себе палатки...

- Я не очень понимаю – вот как вас на окопы отправили? На копание окопов отправляли?

- Отправили. Ну вот, у нас бригада, сразу же распределили...

- Студенток?

- Студенток. Эта бригада там... одно время там мы дежурили, там бегали, во-первых, мы...

- Где дежурили?

- Мы дежурили... мы провожали детей, отправляли в эвакуацию. Вот, и, значит, вся наша группа должна была сопровождать, помогать, там таскать вещи, детей и [отправлять]. Потом, ну, дежурство было по университету, там... распределялись какие-то обязанности, и кроме того, значит, периодически всех, не периодически, а, в общем, подряд так отправляли. Меня первый раз отправили, я где-то была под Вырицей, недели две или три там была, а второй раз вот нас...

- А что под Вырицей делали? Окопы готовили?

- копали, перед немцами. Вот, а потом, значит, нас собрали, нас провожал Вознесенский наш, только заступил, хорошо говорил без всяких громких фраз, ... пожелали нам справиться с работой .... Ну я помню, что меня это очень как-то это порадовало, что, если можно сказать порадовало, ну, приятно было, что он не произносил никаких там громких фраз, что вот Родина там, тра-ля-ля, вот – это наш долг, и мы должны выполнить этот долг, он поручен нашим ... В чистом поле нас остановили, и мы себе там оборудовали, на каждые девять, наверное, человек восемь у нас сами строили эти кто как умел, в основном парни, значит, а мы помогали...

- А что строили?

- Шалаш. И в этом шалаше, значит, так все спали, и по команде переворачивались на другой бок.

- Так шалаш же протекал, наверное?

- Конечно, протекал. У нас, я помню, вот главным такой был, он у нас не то нанаец, не то ..., и так мы там пробыли на этих окопах, по-моему, недели две-три. Это было под самый август, в общем, под самую блокаду. И бежали, бежали...

- А как бежали?

- Разбудили. мы лопаты в руки, и вот над нами на бреющем летает самолет, мы прячемся в кусты и закрываем лопатой голову. Мы так долго-долго бежали, потом мы прибежали на станцию, это был такой Женя Наумов. И надо сказать, что он был один из тех, кто травил Гуковского Григория Александровича

- А кто это?

- А это был аспирант, по-моему, так, а может быть, уже и кандидат наук, во всяком случае он был уже старше нас намного, вот, и потом он отрекся, гонения Гуковского, - как раз вот Женя этот.. Он был таким делягой, чем так сказать, прославился. Даже, по-моему, мне рассказывала, я точно не помню, что на дочь Гуковского Григория Александровича, Наталья Григорьевна Долинина с которого он собрал очень нехорошую.

- А что он сделал?

- А Гуковского тогда травили же, его же посадили, ну и вот его... во всяком случае, я помню очень хорошо, я ж тоже в комсомоле была, в комсомол попала, и я вот помню, однажды, после чего мне очень хотелось выйти из комсомола, я была на таком разборочном собрании, когда тоже вот разбирали, и тоже вот этот Женя Наумов, он очень активную роль играл. Разбирали... был такой Эрик Горлин, это семья Горлиных, семья переводчиков. И вот этот Горлин переводил... подождите, кого он переводил? ... им переведен, я не знаю, во всяком случае, какого-то английского писателя, который в тот момент, в общем, считали не нашим. И его исключали из комсомола. Вот. И я помню, что были многие, ну, никто не молчал. То есть многие... ну, там соглашались кто-то, держали сторону этого самого... Жени Наумова, но были и люди, которые, так сказать, активно возражали. И среди них, я помню очень хорошо, был такой, один известный к сожалению умер, два были друга – Молдавский и Баскаков. Баскаков потом сыграл большую роль... (перерыв в записи) вот, так что я присутствовала на этом собрании, и я помню, что очень активно выступали эти Молдавский и Баскаков. Молдавский – это писатель, а Баскаков – он даже, он там уже потом стал таким чиновников, он был еще и в Союзе кинематографистов, ну, и он так забронзовел потом так, конечно, но тогда они, я помню, что они очень активно выступали против исключения этого...

- Это какой год?

- Это был... сейчас скажу – я восстановилась в 44-м, нет-нет-нет... да... это было раньше, это было, нет, это я вру – это было до, в этом самом, 40-м году. Да, он, значит, это и вел, и помню, что этот Женя, он, конечно, нас посадили в теплушки, все-таки он нас вывез оттуда, конечно, мы ехали... Во всяком случае, это был последний заезд перед блокадой. А потом университет и все эвакуировались, а я осталась.

- А университет когда эвакуировали?

- Университет эвакуировался... в марте, в марте.

- Ну, так это значит, еще целая блокадная зима?

- Да, да, по-моему, да. Потому что я должна... мы должны были эвакуироваться, потому что мама моя работала на Ленфильме, и Ленфильм эвакуировали, должны были, но не успели. И я, мне пришлось забрать уже документы из университета, то есть отчислиться для эвакуации, но я не поехала, поступила на работу, а университет уехал, я даже не помню, когда, во всяком случае, как-то уже, по-моему, по Ладого, уехали в Саратов.

- А что в сентябре, в октябре?

- В сентябре, в октябре, в общем, я уже была дома...

- Занятий не было?

- Занятий не было совершенно, ну, несколько раз я ездила, в университет там, что-то такое делали, дежурили, а в основном дежурили по дому, так сказать, на крыше.

- А кто это организовывал?  
- Организовывали... ну, в жилищном управлении организовывали... Вот Эля, приходила ко мне Некрасова, мы в месте с ней тогда бегали по этим чердакам. А потом я поступила на работу.

- Когда?

- Это... поступила я на работу где-то в октябре, вот так вот я поступила на работу, это завод назывался не помню, Полиграфмаш он сейчас. Вот, и работала там до эвакуации 4 июля.

- Вместе с заводом?

- Нет, это мы поехали сами

- А как это вы сами поехали?

- А когда началась эвакуация, я даже не знаю, в общем, мы... как-то шло по линии райсоветов там ...нас бомбили ужасно, на катере

- На каком катере?

- Перевозили через Ладогу. Мы доезжали вот по этой до Ириновской дороге, доезжали... как она называлась... Уже забыла сейчас. И нас там по этой дороге везли

- А как – это были какие-то специальные пункты, куда вы должны были придти?

- Да-да-да. Существовало, я забыла, как оно называется, забыла... Это известное место.. Но мы тогда очень уже были, особенно мама

- Но ходила?

- Ходила. И вот так нас, значит Ехали в теплушках месяц.

- Месяц?

- Месяц. Мы ехали в теплушках. Мы ехали в Куйбышев, потому что туда уехали мамы сестры младшие с детьми, в начале, они сразу, как только началось. И мы туда отправились. И мы... вот так вот нас везли, через весь Урал, через Свердловск, я помню,

Я помню, что мы проезжали Свердловск, потом Челябинск проезжали ... В Куйбышев, причем в Куйбышев нас не пускали. И вот мир не без добрых людей – одна девушка взяла, была куйбышевская, взяла на свой паспорт нам билеты. И мы так доехали, добрались до наших. И там устроились

- А как вот по дороге, как вы ели?

- А было очень страшно, потому что нам выдавали там пайки, многие наедались очень, и умирали. Нас как-то это Бог... во всяком случае, доехали выдавали пайки, хлеб там был, что-то еще там было, я сейчас не помню уже Во всяком случае, это было больше того количества, блокадного Ну и там распределяли, В общем, пайки там были, по вагонам были дежурные, все распределяли, Однажды я отстала от поезда, просто я вышла за кипятком, а поезд ушел. Я осталась А его как раз переводили на другой путь. Было. Ну, в общем, конечно, хлебнули... Приехала я туда, и сразу же устроилась тоже работать на завод. А завод там был... Но это было, значит, три завода соединились, это наш Севкабель, потом Укракабель и Москабель, три завода было.

- И все ленинградские?

- Нет, Москабель - московский, и украинский. Значит, я помню, что директор у нас сам с Украины Вот, и очень много было ленинградцев. ... Там выдавали какие-то наборы - хлеб, потому что голодали постоянно, - всем ленинградцам, всем блокадникам там выдавали микояновские наборы.

- Это что такое?

- Это набор продуктов, там колбаса, там, но, в общем, конечно, тоже молодая была

- А почему микояновские?

- А по распоряжению Микояна.

- А, и поэтому их называли микояновскими?

- Микояновские, наборы, и я помню, что их давали два месяца там ... Ну жили мы в избушке, потому что мы жили не в... Сейчас там, наверное, там уже Куйбышев, а тогда это был такой Кузнецовский поселок, области. Жили в деревянной избе, у нас была такая

очень славная хозяйка, ... И вот мы... тетки жили - у одной двое мальчишек, и вторая, младшая самая, тоже. Вот так вот мы и жили. Ну там... если в Ленинграде все-таки было организовано снабжение какое-то, выдавали по определенной... по декадам, там, в общем, большую роль сыграло то, что там какой-то был, я помню, люди каждый раз ждали извещения, что вот сейчас, на эту декаду, выдается такое-то количество продуктов и выдавалось тут же, и, действительно, трудно А в Куйбышеве, там для того, чтобы отоварить свою карточку, нужно было для того, чтобы получить хлеб, мои тетки уходили с утра, уходили там в центр города, а это пройти сколько, и стояли целый день, для того, чтобы купить, отоварить свою карточку, надо. Вот, а мы отоваривались на заводе, на заводе мама тоже стала там работать. Так вот и жили. (перерыв в записи)

- Давайте, снова вернемся к блокаде. А что это за, какой это был завод, и вы были кабельщицами на заводе?

- Кабельщицы, значит, деревоотделочный цех, четырнадцатый отдел

- Так, значит, и вы у станка не стояли?

- Нет, там на станке вообще не работали.

- А что люди делали?

- А люди приходили и сидели. Вот сидели, сидели, вот я говорю – каждый день, началось там – десять человек, а потом постепенно все меньше и меньше, меньше. Приходили, отмечались, ну, что-то где-то что-то нужно было, кто в состоянии был, тот делал. Потому что большое такое производственное объединение было, сейчас Полиграфмаш стал, ну вот, ну и я тоже отмечала, кто приходил, кто уходил, какие-то бумажки надо было там выписывать – выписывала, так что практически там так...

- Ну вас еще куда-нибудь посылали? Там дежурить на работе, или нет?

- Да, конечно. У нас там началась, ведь самое главное, что я говорю, что чем славен так Ленинград, начиная с марта месяца нас посылали на уборку города. Ну вот приходилось и цех подметать, и все – это нужно было делать, конечно. А тут уборка города. И, значит, все, едва волоча ноги, пошли мы Карповку, я помню, что мы Капровку зачищали от... – канализация-то не работала, так что страшная была угроза эпидемий, и вот Ленинград, все вот несчастные дистрофики, я помню, что я тогда болела ужасно, кошмарно, и вот так вот корячась, мы убирали, все чистили. Так что месяц примерно мы вот так вот ходили, убирали...

- Это вас от завода послали?

- От работы, да.

- Это вот после первой блокадной зимы?

- Это было... трамвай первый пошел 14 апреля. И вот как раз вот март-апрель, март-апрель и конец февраля мы занимались уборкой. Уборкой территории, уборкой... так что так приходилось работать.

- Эльга Григорьевна, а вот как вы эту первую блокадную зиму пережили?

- Мне очень тяжело было, во-первых, потому что...

- Где вы жили тогда?

- Мы жили... дело в том, что у нас комната была, 26-28, вот этот Кировский, ну, дом Кирова, у нас комната была таким эркером, у нас три огромных окна, она такая... и все эти окна были разбиты. И нам пришлось ютиться по знакомым, у кого там жилье где-то было, так что нам очень лихо пришлось, очень лихо. Ну там фанеркой забивали, буржуйка была, книги... ну вот я говорю, что книги – откуда я узнала, я раньше никогда там не копалась, я знала, что у отца там были залежи книг, и Бухарина, Троцкого, и все это... Мне даже в голову не пришло, что если бы, не дай Бог, если бы там обыск какой-то был, мы бы уже не жили бы в Ленинграде, естественно. И вот все книги мы сжигали беспощадно...

- Но ведь вы же с мамой вдвоем были?

- Да.

- А как две женщины сделали буржуйку?

- Кто-то маме... она же продолжала работать на Ленфильме, и тогда вот буржуйку, кто-то принес, ну и родственники у нас тоже были, они нам тоже как-то так что-то такое... Вот я помню, что мамин дядя, не дядя, а муж ее тетки, вот эти были страшные дни в конце января, когда не было хлеба, а я помню, что он стоял в очереди и нам, у нас бывал, он нам достал хлеб, ну не знаю, наверное после этого. Вот, и мы на этой буржуйке мы (перерыв в записи) Поделили вот этот кусочек маленький, 125 грамм, на три части. И сушили на этой печурке.

- А зачем сушили?

- А потому что... чтобы она... ну, съедобней как-то, ну, и так ели, но и обязательно сушили. Поджаренный хлеб... так что...

- А что-нибудь еще удавалось достать?

- Ну уже потом, к лету, ближе к лету – лебеда...

- а зимой?

- Зимой ничего, зимой мы ничего не могли достать. Мы всегда очень бедствовали. И потом очень непрактичная, мама была абсолютно непрактичная, у нас был там шкаф какой-то, были богатые люди, которые покупали за буханку хлеба. А потом что-то еще мама продала, а так у нас нечего было даже продавать. Поэтому доставать – нет, только то, что было, и у нас никаких ни запасов не было, так что... ну, мама была... да и я тогда в университете... университет когда первый раз, ну, как раз когда я поступала, впервые было платное обучение, так что, у мамы было какое-то колечко, она его продала, и мы заплатили за занятия. Вот, а так что бедствовали мы очень. Вот так что вот мы жили на честную блокаду, абсолютно на честную. Ну и там началось и у меня с ногами очень плохо было, ноги у меня совершенно не ходили, я с трудом сходила с лестницы, ну вот, а мама очень легко слегла в общем. Два пальто я носила - демисезонное, а сверху зимнее. Так и ходила, суровая еще зима была, я помню, через эти сугробы, я помню, по Петропавловской улице, туда, через Карповку, через мост, тогда мост был в другом месте, я помню, что сколько раз я падала... ну, вот так.

- А со знакомыми, с друзьями вы – в это время никто не общался? Потому что сил не было?

- Невозможно было. Не было возможности. Однажды, я помню, пришел брат мужа моей тетки, пришел из Заставской улицы, вот я вспоминаю, и он пришел к нам, проведаль нас, а мы при свечке... керосиновой, нет, у нас лампочка была, и я только помню, что я лежала, он с нами разговаривал, а мы лежали. Если мы не ели, то мы лежали закрывшись там всем тем, что есть. Так что... клей потом, клей где-то доставали, варили студень.

- То есть все-таки... а где доставали? Вот как?

- Я не помню, кто-то принес, кто-то нам подарил, кто-то там подарил, ну и мама... мама же продолжала, она была на военном положении - ПВО Ленфильма, и вот там такие... вот таким вот образом. Ну и поэтому, от отчаяния уже, мы понимали, что мы не выживем, все я это помню... ну, показали... мы абсолютно, мама у меня была абсолютно апатичный человек, поэтому мы... так что вот так вот все это получилось, причем комнату заняла у нас женщина, у нас в квартире... Вообще квартира у нас была довольно приличная, вообще хорошая, у нас никогда никаких не было ссор, там огромная квартира была, и вот одна у нас, она там в задней комнате жила, вечно с мужем дралась, он был пьяница, он ее бил, а потом она в партию вступила. Стала очень важная, страшно важная была. Иванова ее фамилия была... А как только в партию вступила, немцы наступают, и кто-то ей сказал, что, дорогая моя, ты вот в партию, а немцы придут, они первых коммунистов повесят. А я скажу, что я с партией была не согласна. Я очень хорошо помню. Я скажу, что я с партией не согласна. Но тем не менее, она была на хлебзаводе, она заняла нашу комнату (перерыв в записи) Покупали хлеб, покупали, покупали мебель, покупали – были такие.

- Эльга Григорьевна, а вот скажите, а как вот вообще была такая обстановка в городе – вот случаи людоедства, вы знали что-нибудь об этом?

- Я об этом не знала. Я не знала, может быть, замкнутый такой мир, это я не знала. Но, в общем, какая-то, я помню, что абсолютно равнодушная выходила и я видела, что лежали завернутые в простыни люди, и как, знаете, вполне будничные, не поражало, так что... А о людоедстве я не слышала. Но... в общем, люди, конечно, доходили до сумасшествия, это я знаю, потому что вот наш преподаватель, был любимый учитель, такой Константин Михайлович, по литературе. Вот мне рассказывали, что он просто бегал по столовой и облизывал тарелки там... вот такие были случаи, когда... ну, когда чисто уже было патологическое. Потому что уже кошек всех, всех собак там, всех-всех перерезали. Когда вырывали хлеб, вырывали из рук на улице – это было, я слышала. Ну и потом мы говорили, мы вообще старались сухой хлеб, сушишь, чтоб больше было. И однажды я, мы с подругой пошли и нам попался сырой хлеб, и я помню, что я плакала. И мама меня, значит, ругала, ты не туда пошла, там не ... В общем, я вот сейчас прочла эту книгу [Кунсткамера, 1941–1945]... там так много такого... - вспомнила

- А как вот с близкими друзьями и знакомыми – было вот такое как бы, ну, отношении... меняли ли вообще вот отношения? Ссорились?

- Мы немного, конечно... Нет, ссориться, не знаю, вот я помню, что в квартире (перерыв в записи) в квартире сохранились такие, ну, если можно сказать, пристойные отношения. Пристойные отношения, даже как-то... старались друг другу помочь, как-то было такое.

- А воровства не было?

- Было. Было. Вот нас обокрали там, пока мы жили где-то, валялись у моей подруги, там комната у них была, вторая комната, и мы там жили, и мы пришли домой и все... нас почистили.

- А что украли – вы же говорите, нечего было даже продать?

- А у меня была, мне подарила моя подруга такую лаковую шкатулку. Этой вот шкатулки не стало. Потом, что-то... вроде незначительное что-то, то, что могли, почистили. Вот так было, это было. Но мы узнали потом, кто это, так что...

- Ну а вот так, чтобы в доме, ну там, еду таскали?

- Нет, этого нет, в квартире нет. Это у нас такая какая-то пристойная публика, были более менее порядочные люди. Но вот рядом с нами жила Кандарацкая, это врач-психиатр, детский психиатр, и мать у нее, и вот она старушка, и вот она даже как-то старалась нам... там у них печку сделали, мы первое время у них там грелись, нет, шли навстречу. У меня, во всяком случае, не осталось такого ощущения какой-то... вот за исключением этой дамы, которая там себя неожиданно объявила.

- Эльга Григорьевна, а вот скажите, вот тогда, не потом, а именно тогда, во время блокады, было у вас какое-то вот понимание о том, что не все бедствуют в городе?..

- Да, конечно, конечно.

- А вот скажите, как вы это понимали?

- Понимали по виду людей. По виду людей. Продавщица в булочной – она была менее дистрофик. Они были не дистрофики, и вообще, конечно, они жили совершенно по-другому, по другим параметрам совершенно и законам, и были такие люди, были...

- Но это были...

- Люди, связанные с торговлей, с... вот так вот.

- А с властью?

- А с властью – мы их не видели.

- Совсем?

- Совсем. Мы знали, что у нас есть Андрейченко (перерыв в записи) Андрейченко, который нам, я помню, отписывал еженедельную норму. И вспоминают его хорошо, вот я тоже недавно была о нем какая-то передача даже, это человек был порядочный и... А так

мы, в общем, ничего не знали. Да, говорили, вот о Жданове говорили – вот я помню, что он жил...

- Что он жил?

- Он жил, у него дача Жданова была на Большой Невке, и что он там неплохо жил. (перерыв в записи) Дядя рассказывал, он был военпредом, он оставался тоже в блокаде, это муж моей тетки, он военпред был на заводе 77-м, сейчас это завод Карла Либкнехта, и вот он рассказывал, что однажды его пригласил генерал, приехал генерал, и пригласил к себе. Там у него на банкет какой-то, вот, и когда он вошел туда и увидел, что делается на столе, он буквально упал в обморок. Так что такие люди еще были. И про Жданова говорили, это я помню, не знаю, насколько, так сказать, это верные слухи, но говорили, что ему привозили на самолете, там привозили продукты какие-то. Это мы слышали. Но и нет, это совершенно было очевидно, мы знали, что есть люди, которые живут совершенно по другим законам.

- Эльга Григорьевна, а вот про аресты, про эту безумную ловлю шпионов...

- Шпионов это мы уж... шпиономания эта была, и бегали, искали, и находили, конечно, – это мы знали, да.

- И что потом случалось с этими людьми?

- Не знаю, это мы не знали. Это мы не знали. Но мы догадывались.

- А как вот эта шпиономания выглядела?

- Ну, потому что человек приходил, что-то спрашивал, ну уже вот это... во какие мысли, сразу подозрение, и потом, когда такое общее настроение, такое невольно на это настраивались. Такое было. Такое было.

- А вот весной 42-го года, весна началась, и весь город был в трупах – как их убирали?

- Вот тогда вот все убирали. Вот март-апрель – это была действительно героическая работа, это я могу сказать. Убিরали... Умерла... Где-то в январе умерла няня моей подруги. И мы с ней везли ее в Народный дом, это у нас на парк Ленина был, мы везли на саночках, и там горы трупов были. Вот когда оттуда их убирали – это я не знаю. Это я уже не знаю. Куда и что уходило так

- А скажите, у вас никогда не появлялось вот такого вот сомнения в том, что зря не сдали город?

- Нет. Вот в этом нет, все как-то очень верили в то, что город не сдадут.

- Что нельзя сдать?

- Что нельзя сдать.

- А почему?

- А не знаю, вот такое, что нельзя, что Ленинград не может быть сдан. Это было такое...

- И вот не было такого ощущения, что если бы город сдали, и немцы бы заняли, ну во всяком случае, такого голода бы не было.

- Нет, этого не было, во-первых, потому что при моем пятом пункте об этом не могло быть и речи.

- Нет, это при вашем пятом пункте, а я вообще говорю...

- А вообще я не слышала...

- И ни разговоры...

- Нет, нет, этого не было, я, во всяком случае, не слышала никогда таких высказываний. Все очень твердо были уверены...

(конец записи)

Торчинская Эльга Григорьевна

Корреспондент – Флиге Ирина Анатольевна

08.04.2004

Кассета №3, сторона В

- ...вообще, я говорю, что даже... дело в том, что, вот я говорю, что даже дедушка мой при отношении к Сталину, он очень его не любил, но тем не менее, вот когда вот эта была инсценировка появления его на параде 7 ноября, даже дедушку, я помню, прошибло его слезой. Вот, так что все по-хорошему патриотически были настроены. Разговоров каких-то про сдачу [Ленинграда немцам] я не помню.

- А верили тому, что говорят по радио?

- По радио – потом заглохло радио. Но мы слушали передачи когда выступали Федюнинский, Мерецков – это мы слушали, мы ловили все это, Ольгу Берггольц я помню, потом этот – Вишневский, Вишневский тогда, златоуст, он же, который «Оптимистическая трагедия», он ведь тогда сыграл большую роль, его пламенные речи были всем... так что...

- Но это художественные передачи, а имею в виду...

- Нет, нет, не художественные, он вел такие политические передачи. Вишневский, да...

- А вот верили Информбюро или...

- Верили. Верили. Очень верили.

- То есть не считали, что они там говорят, а на самом деле неизвестно, где линия фронта?

- Нет, нет, на нашем уровне это да, сомнения не было.

- Верили?

- Не было, мы верили тогда, мы верили всему.

- А когда радио заглохло?

- Мне бы вот даже сказать... ну, где-то вот, по-моему, где-то в январе, в общем, когда электричества не стало... Но я могу, конечно, перепутать, когда перестало работать...

- Но потом, когда трамвай пошел и радио заработало?

- Уже потом и радио появилось, да, когда совсем ...

- А скажите, а что-нибудь было вот такое вот яркое, позитивное вот в эту зиму?

- Ну, сдавали города, поэтому настроение было плохое, все хуже и хуже, я не помню такого позитивного...

- Ну я не знаю, ну какой-нибудь концерт, какая-нибудь... такое вот замечательное?

- А, вот знаете, что я могу... Нет, это неправда, во-первых, вот в начале сентября, октября я еще бегала в филармонию на концерты. Я бегала, и в октябре, и даже, по-моему, где-то в ноябре, мы бегали на концерты. Я же и седьмую слушала тогда симфонию, Элиасберг, я могу, это было прекрасный концерт, причем ведь переполненные залы, у нас ведь как всегда были стоячие или входные, эти... [билеты] стоячие места, и я очень хорошо помню, как был концерт, я не помню уже, вот когда и что-то вот в программе Элиасберг дирижировал, и начался концерт, зажгли свет, и вышел на сцену первая скрипка, Заветновский, я помню, первая скрипка – старичок, и Бриг – первая виолончель. Они первые вышли, и весь зал встал. Хлопали. Да, конечно, что вы!

- Это еще осенью, да?

- Да, это было где-то осенью, на октябрь-ноябрь, я бегала, бегала на концерты. Бегала на концерты, еще тогда мы могли. Где-то вот да, это был ноябрь, может быть, даже вот так... И я бегала много на концерты. А потом уже перестала.

- А декабрь, январь, февраль?

- Там уже, уже пошло, конечно... все это было..., тогда мы не могли, и ходить, передвигаться и страшно было, двор совершенно не убирался, это я не помню. А потом же, после, после уже там мы бегали на концерты Музыкальной комедии, тогда они еще даже в своем были театре...

- Но это было уже в апреле?

- Это уже, это уже позже, позже. Нет, это уже было после приезда.

- После блокады?
  - Да, после блокады. Нет, это уже после декабря и вот этих страшных дней все уже были сосредоточены только на – еда, голод, голод.
  - А весной там стало легче?
  - Весной там стали прибавлять немножко хлеб. (перерыв в записи) немножко, как вот, стали прибавлять, я вот помню, что...
  - Прибавлять хлеб, или крупы?
  - И хлеб, и там какие-то крупы, и, в общем, стал паек немножко больше, стали... завоз больше, и, конечно, ну, сказать, легче просто. Ну и то, что мы вот лебеду собирали, там где-то какие-то кто-то ездил, что-то привозил, уже на подножном там каким-то образом, я помню, что мы, с каким удовольствием мы с уксусом ели этот самый... клей.
  - А уксус где взяли?
  - А уксус у нас от старых, наверное, запасов был, там было... А потом нам помог дядя, у меня дядя, муж второй тетки, он работал, ну, где-то там заведовал питанием на заводе Марти. Ну работать ему приходилось, там эти приходилось снабжать корабли, там очень из таких... И вот однажды... мы не виделись всю блокаду, потому что они там были на казарменном положении, и вот как-то мы встретились, он увидел меня, у меня был вид соответствующий, я была страшная, ужасная. И вот появились трамваи и он меня к себе туда, чтобы я к нему приезжала, он где-то работал в районе Маклина, там Маклина и Римского-Корсакова, там был у них завод и он мне давал соевое молоко. Я помню, что я везла это соевое молоко. Соевое молоко я, значит, везла и ради этого я ездила туда под обстрелом, я бежала там... И вот он нам немножко помог вот так.
  - Это весной уже?
  - Это уже весной. Я никогда в жизни не забуду, как, я вспоминаю, как я шла – трамваи шли только до Театральной площади, а там нужно было идти пешком. И вот я иду по Декабристов, и на ступеньке парадной сидел ребенок. В кепочке. И вот я помню его лицо, ну, лицо типичного дистрофика, с обтянутыми красными губами, И он сидел. Тихо-тихо так сидел. Я пошла туда, а обратно я тоже ковыляю, шла часа через два, через три, он в таком же... толи он был неживой, я не помню, ужасно меня это... запечатлелось. Вот дядя нам немножко так помог вот этим соевым молоком, они его получали, по карточкам там давали соевое молоко. Вот так вот.
  - А с водой как было?
  - А с водой ужасно, мы ходили в прорубь...
  - А где вы брали, на Петроградской-то сложно?
  - Как – к Неве, к проруби ходили. С саночками. Я помню, ходили, падали. Не мылись, потом бани как открылись – там очереди стояли, [неразб] и постирать. Так что вот так.
- (конец записи)